# Волчья стая

# Василь Быков

###### 1

С трудом протиснувшись в людском потоке через распахнутые железные ворота, Левчук очутился на просторной, запруженной автомобилями привокзальной площади. Здесь толпа пассажиров из только что пришедшего поезда рассыпалась в разных направлениях, и он замедлил свой и без того не слишком уверенный шаг. Он не знал, куда направиться дальше — по уходящей от вокзала улице в город или к двум желтым автобусам, поджидавшим пассажиров на выезде с площади. В нерешительности остановившись, опустил на горячий, в масляных пятнах асфальт неновый, с металлическими уголками чемоданчик и осмотрелся. Пожалуй, надо было спросить. В кармане у него лежал помятый конверт с адресом, но адрес он знал на память и теперь присматривался, к кому бы из прохожих обратиться.

В этот предвечерний час людей на площади было немало, но все проходили мимо с видом такой неотложной поспешности и такой занятости, что он долго и неуверенно вглядывался в их лица, прежде чем обратиться к такому же, наверно, как сам, немолодому человеку с газетой, которую тот развернул, отойдя от киоска.

— Скажите, пожалуйста, как попасть на улицу Космонавтов? Пешком или надо ехать автобусом?

Человек поднял от газеты не очень довольное, как Левчуку показалось, лицо и сквозь стекла очков строго посмотрел на него. Ответил не сразу: то ли вспоминал улицу, то ли присматривался к незнакомому, явно нездешнему человеку в сером примятом пиджаке и синей рубашке, несмотря на жару, застегнутой до воротника на все пуговицы. Под этим испытующим взглядом Левчук пожалел, что не завязал дома галстук, который несколько лет без надобности висел в шкафу на специально для того вбитом гвоздике. Но он не любил да и не умел завязывать галстуки и оделся в дорогу так, как одевался дома по праздникам: в серый, почти еще новый костюм и первый раз надетую, хотя и давно уже купленную, сорочку из модного когда-то нейлона. Здесь, однако, все были одеты иначе — в легкие, с короткими рукавами тенниски или по случаю выходного, наверно, в белые рубашки с галстуками. Но не большая беда, решил он, сойдет и попроще — не хватало ему забот о своем внешнем виде...

— Космонавтов, Космонавтов... — повторил человек, вспоминая улицу, и оглянулся. — Вон садитесь в автобус. В семерку. Доедете до площади, там перейдете на другую сторону, где гастроном, и пересядете на одиннадцатый. Одиннадцатым проедете две остановки, потом спросите. Там пройти метров двести.

— Спасибо, — сказал Левчук, хотя и не очень запомнил этот непростой для него маршрут. Но он не хотел задерживать, видно, занятого своими делами человека и только спросил: — Это далеко? Наверно, километров пять будет?

— Каких пять? Километра два-три, не больше.

— Ну, три можно и пешком, — сказал он, обрадовавшись, что нужная ему улица оказалась ближе, чем ему показалось сначала.

Не спеша он пошел по тротуару, стараясь своим чемоданчиком не очень мешать прохожим. Шли по двое, по трое, а то и небольшими группками — молодые и постарше, все заметно торопясь и почему-то все навстречу ему, в сторону вокзала. Возле попавшегося ему на пути продуктового магазина народу было и еще больше, он взглянул в блестящие стекла витрины и удивился: у прилавка, словно пчелиный рой, гудела плотная толпа покупателей. Все это было похоже на приближение какого-то праздника или городского события, он прислушался к обрывкам торопливых разговоров рядом, но что-либо понять не смог и все шел, пока не увидел на огромном щите оранжевое слово «футбол». Подойдя ближе, прочитал объявление о намеченной на сегодня встрече двух футбольных команд и с некоторым удивлением понял причину оживления на городской улице.

Футболом он мало интересовался, даже по телевизору редко смотрел матчи, считая, что футбол может увлекать ребятишек, молодежь да тех, кто в него играет, а для пожилых и здравомыслящих — занятие это малосерьезное, детская забава, игра.

Но горожане, наверно, относились к этой игре иначе, и теперь по улице трудно было пройти. Чем меньше времени оставалось до начала матча, тем заметнее торопились люди. Переполненные автобусы едва ползли возле тротуаров, из незакрытых дверей гроздьями свисали пассажиры. Зато в обратном направлении большинство автобусов катило пустыми. Он ненадолго остановился на углу улицы и молча поудивлялся этой особенности городского быта.

Потом он долго и не спеша шел по тротуару. Чтобы не надоедать прохожим расспросами о дороге, посматривал на углы домов с названиями улиц, пока не увидел на стене одного из них синюю табличку с долгожданными словами «Ул. Космонавтов». Номера, однако, тут не было, он прошел к следующему зданию и убедился, что нужный дом еще далеко. И он пошел дальше, приглядываясь по дороге к жизни большого города, в котором никогда прежде не был и даже не предполагал быть, если бы не обрадовавшее его письмо племянника. Правда, кроме адреса, племянник ничего больше не сообщил, даже не разузнал, где и кем работает Виктор, что у него за семья. Но о чем мог разузнать студент-первокурсник, который случайно наткнулся на знакомую фамилию в газете и по его просьбе раздобыл в паспортном столе адрес. Вот теперь сам обо всем узнает — за этим ехал.

Прежде всего ему радостно было сознавать, что Виктору удалось пережить войну, после которой судьба, надо полагать, отнеслась к нему благосклоннее. Если живет на такой видной улице, то, наверное, не последний человек в городе, может, даже какой-либо начальник. В этом смысле самолюбие Левчука было удовлетворено, он чувствовал, что тут ему почти повезло. Хотя он понимал, конечно, что достоинство человека не определяется только его профессией или должностью — важен еще ум, характер, а также его отношение к людям, которые в конце концов и решают, чего каждый стоит.

Присматриваясь к огромным, многоэтажным, из светлого кирпича фасадам со множеством балконов, заставленных у кого чем — лежаками, раскладушками, старыми стульями, легкими столиками и ящиками, разным домашним хламом, опутанным бельевыми веревками, — он старался представить себе его квартиру, тоже конечно, с балконом где-нибудь на верхнем этаже дома. Он считал, что квартира тем лучше, чем выше она расположена — больше солнца и воздуха, а главное — далеко видать, если не до конца, то хотя бы до половины города. Лет шесть назад он гостил у сестры жены в Харькове, и там ему очень понравилось наблюдать до вечерам с балкона, хотя тот и был не очень высоко — на третьем этаже десятиэтажного дома.

Интересно все же, как его примут...

Сперва, конечно, он постучит в дверь... Не очень чтоб громко и настойчиво, не кулаком, а лучше кончиком пальца, как перед отъездом наставляла его жена, и, когда откроется дверь, отступит на шаг назад. Кенку, пожалуй, лучше снять раньше, может, еще в подъезде или на лестнице. Когда ему откроют, он сперва спросит, здесь ли живет тот, кто ему нужен. Хорошо, если бы открыл сам Виктор, наверно, он бы его узнал, хотя и прошло тридцать лет — время, за которое мог до неузнаваемости измениться любой. Но все равно, наверно, узнал бы. Он хорошо помнил его отца, а сын должен хоть чем-нибудь походить на отца. Если же откроет жена или кто из детей... Нет, пожалуй, дети еще малые. Хотя вполне могут открыть и дети. Если ребенку пять или шесть лет, почему бы не открыть дверь гостю. Тогда он спросит хозяина и назовет себя.

Тут, чувствовал он, наступит самое важное и самое трудное. Он уже знал, как это радостно и тревожно — встретить давнего своего знакомого. И воспоминание, и удивление, и даже какое-то чувство неловкости от того странного открытия, что ты знал и помнил вовсе не этого стоящего перед тобой незнакомого человека, а другого, навечно оставшегося в далеком твоем прошлом, воскресить которое не в состоянии никто, кроме твоей не мутнеющей с годами памяти... Потом его, наверно, пригласят в комнату и он переступит порог. Само собой, квартира у них хорошая — блестящий паркет, диваны, ковры, — не хуже, чем у многих теперь в городе. У порога он оставит свой чемоданчик и снимет ботинки. Обязательно надо не забыть снять ботинки, говорят, в городе теперь повелся такой обычай, чтобы обувь снимать у порога. Это дома он привык в кирзе или резине переться прямо от порога к столу, но здесь он не дома. Значит, перво-наперво снять ботинки. Носки у него новые, купленные перед поездкой в сельмаге за рубль шестьдесят шесть копеек, с носками конфуза не будет.

Потом пойдет разговор, конечно, разговор будет нелегкий. Сколько он ни думал, не мог представить себе, как и с чего они начнут разговор. Но там будет видно. Наверно, его пригласят за стол, и тогда он вернется за своим чемоданчиком, в котором всю дорогу тихонько булькает большая бутылка с заграничной наклейкой и дожидается своего часа кой-какой деревенский гостинец. Хотя и в городе теперь сытно, но кольцо деревенской колбасы, баночка меду да пара копченых лещей собственного улова, наверно, окажутся не лишними на хозяйском столе.

Задумавшись, он прошел дальше, чем следовало, и вместо седьмого десятка увидел на углу цифру восемьдесят восемь. Немного подосадовав на себя, повернул обратно, быстрым шагом миновал скверик, здание с огромной, на целый этаж вывеской «Парикмахерская» и увидел на углу номер семьдесят шесть. Минуту он в недоумении глядел на него, не в состоянии понять, куда же девался целый десяток домов, как услышал вежливый голосок рядом:

— Дядя, а какой вам дом надо?

Сзади на тротуаре стояли две девочки — одна, белоголовая, лет восьми, помахивая вокруг себя сеткой с пакетом молока, простодушно рассматривала его. Другая, чернявенькая, ростом чуть выше подружки, в коротких мальчишечьих штанишках, вылизывала из бумажки мороженое, несколько сдержаннее наблюдая за ним.

— Мне — семьдесят восьмой. Не знаете, где такой?

— Семьдесят восьмой? Знаем. А какой корпус?

— Корпус?

О корпусе он слышал впервые, на корпус он просто не обратил внимания, запомнив лишь номера дома и квартиры. Какой еще может быть корпус?

Чтобы убедиться, что не ошибается, он опустил на тротуар тяжеловатый таки свой чемоданчик и достал из внутреннего кармана пиджака потертый конверт с понадобившимся теперь адресом. Действительно, после номера дома была еще буква К и цифра 3, а потом уже значился номер квартиры.

— Вот, кажется, три. Корпус три, так, кажется.

Девочки, разом заглянув в его бумажку, подтвердили, что корпус действительно третий, и сообщили, что они знают, где этот дом.

— Там Нелька-злая живет, это за грибком-песочницей, — сказала чернявенькая с мороженым. — Мы вам покажем.

С некоторой неловкостью он пошел следом за ними. Девочки обошли угол дома, за которым оказался огромный, не очень еще обжитой двор в окружении нескольких пятиэтажных домов, отделенных друг от друга вытоптанными площадками, полосами асфальта и рядами молодых, недавно посаженных деревцев. На скамейках возле подъездов судачили женщины, где-то между домами бухал волейбольный мяч, и по асфальту гоняли на велосипедах мальчишки. Всюду бегала, горланила, суетилась детвора. Девочки шли рядом, и меньшая спросила, заглядывая ему в лицо:

— Дядя, а почему у вас другой руки нет?

Подружка понимающе перебила ее тихим голосом:

— Ну что ты спрашиваешь, Ирка? Дядину руку на войне оторвало. Правда, дядя?

— Правда, правда. Догадливая ты, молодец.

— У нас во дворе живет дядя Коля, так у него только одна нога. Другую у него немцы оторвали. Он на маленькой машине ездит. Маленькая такая машинка, чуть больше мотоцикла.

— А моего дедушку фашисты на войне убили, — печально вздохнув, сообщила подружка.

— Они хотели уничтожить всех, но наши солдаты не дали. Правда, дядя?

— Правда, правда, — сказал он, с улыбкой слушая их лепет о том, что ему было так близко и знакомо. Меньшая тем временем, забежав вперед, повернулась к нему, продолжая раскручивать возле себя сетку с пакетом.

— Дядя, а у вас есть медали? У моего дедушки было шесть медалей.

— Шесть — это хорошо, — сказал он, избегая ответа на ее вопрос. — Значит, герой был твой дедушка.

— А вы? Вы тоже герой? — забавно жмурясь от солнца, допытывалась меньшая.

— Я? Да какой я герой! Я не герой... Так...

— Вон этот дом, — показала чернявая через зеленый ряд молодых липок на такой же, как и все тут, пятиэтажный дом из серого силикатного кирпича. — Третий корпус.

— Ну, спасибо, девчатки. Большое спасибо! — сказал он почти растроганно. Девочки обе разом охотно пропели свое пожалуйста и побежали по дорожке в сторону, а он, вдруг заволновавшись, замедлил шаг. Значит, уже приехал! Почему-то захотелось отодвинуть на какое-то после и этот дом, и предстоящую встречу с тем, о ком он думал, вспоминал, не забывал все эти долгие тридцать лет. Но он преодолел в себе это неуместное теперь малодушие — коль уж приехал, то надо было идти, хотя бы взглянуть одним глазом, поздороваться, убедиться, что не ошибся, что это именно гот, который столько для него значил.

Сначала он подошел к углу дома и сличил номер в бумажке с тем, что оранжевой краской был выведен на шершавой стене. Но девочки не ошиблись, действительно на стене значилось К-3, он спрятал письмо в карман, тщательно застегнул его на пуговицу, взял чемоданчик. Теперь надо было разыскать квартиру, что, пожалуй, тоже не просто в такой громадине на сотню или больше квартир.

Не очень решительно, оглядываясь по сторонам, он направился к первому подъезду, согнав по пути серую кошку, лениво разлегшуюся возле клумбы. Прежде чем открыть дверь, прочитал на ней сообщение о номере почтового индекса, о том, что, уходя из квартиры, следует выключать электроприборы, ознакомился с напечатанным на папиросной бумажке объявлением о собрании квартиросъемщиков по поводу благоустройства территории двора. Выше над дверью висела табличка с указанием подъезда и номерами квартир — от первой до двадцатой, следовательно, нужной ему квартиры здесь не было. Поняв это, он прошел вдоль дома, миновал подъезд номер два и свернул в третий.

На скамейке у самой двери сидели две древние, одетые, несмотря на жару, во все теплое старухи, одна даже в валенках, другая, державшая в руках палку, сосредоточенно водила ею по асфальту. Прервав свою тихую беседу, они внимательно пригляделись к нему, очевидно, ожидая вопроса. Но он ни о чем не спросил, он уже знал, где и что надо искать, и с некоторой неловкостью прошел мимо, вглядываясь в табличку над дверью. Кажется, на этот раз он не ошибся, нужная ему квартира была здесь. Почувствовав, как дрогнуло сердце в груди, он открыл ногой дверь и вошел в подъезд.

На первой площадке было четыре квартиры — от сороковой до сорок четвертой, и он не спеша пошел выше, миновал синий ящик с рядами занумерованных отделений, из которых торчали уголки газет. Присмотревшись к номерам, он понял, что пятьдесят вторая должна быть этажом выше.

На очередной лестничной площадке пришлось перевести дыхание: с непривычки к крутому подъему одолела одышка. К тому же он не мог отделаться от странной, все время донимавшей его неловкости, словно он шел с обременительной просьбой или был виноват в чем-то. Конечно, как он ни думал, как ни успокаивал себя, а понимал, что волноваться еще придется. Наверно, было бы лучше эту встречу устроить несколькими годами раньше, да разве он что-нибудь звал о нем раньше?

Дверь пятьдесят второй оказалась на площадке справа, как и у всех тут, она была окрашена масляной краской, с аккуратным половичком у порога, номером сверху. Поставив у ног чемоданчик, он передохнул и не сразу, преодолевая в себе нерешительность, тихо постучал согнутым пальцем. Потом, выждав, постучал снова. Показалось, где-то раздались голоса, но, прислушавшись, он понял, что это звучало радио, и постучал еще. На этот его стук открылась дверь соседней квартиры.

— А вы позвоните, — сказала с порога женщина, торопливо вытирая передником руки. Пока он недоуменно осматривал дверь в поисках звонка, она переступила порог и сама нажала едва заметную на дверном косяке черную кнопку. За дверью трижды раздался пронзительный треск, но и после этого пятьдесят вторая не открылась.

— Значит, нет дома, — сказала женщина. — С утра тут малая бегала, да вот что-то не видно. Наверно, пошли куда в город.

Обескураженный неудачей, он устало прислонился к перилам. Как-то он не подумал раньше, что хозяев может не оказаться дома, что они могут куда-либо уехать. Впрочем, понятное дело. Разве он сам весь день сидит дома? Даже и теперь, когда вышел на пенсию.

Но, видно, делать тут было нечего — не ждать же йог знает сколько на этой площадке, — и он отправился вниз. Соседка перед тем, как закрыть свою дверь, крикнула сзади:

— Да футбол же сегодня! Как бы не на футболе они.

Может, и на футболе или еще где. Мало ли куда можно пойти в городе в погожий выходной день — в парк, кино, ресторан, театр; наверно, интересных мест тут хватает, не то что в деревне. Уж не надеялся ли он, дурак, что они тридцать лет будут сидеть дома и ждать, когда он заявится к ним в гости?

Он протопал вниз шесть крутоватых лестничных маршей и вышел из подъезда. Старухи при его появлении снова прервали свою беседу и снова с преувеличенным интересом уставились на него. Но в этот раз он не почувствовал прежней неловкости и остановился на краю дорожки, размышляя, как поступить дальше. Наверное, все-таки надо подождать. Тем более что после долгой ходьбы хотелось присесть, вытянуть ноги. Осмотревшись, он заметил в глубине двора в тени какого-то кирпичного строения свободную скамейку и медленным шагом утомленного человека направился к ней.

Поставив на скамейку чемоданчик, он сел и с наслаждением вытянул натруженные ноги. Тут он отругал себя за то, что послушал жену и надел новые ботинки — лучше бы ехать в старых, разношенных. Теперь неплохо было бы их совсем снять с ног, но, оглянувшись, он постеснялся: вокруг были люди, в песочнице под деревянным грибком играли дети. Невдалеке у такой же, как эта, постройки — гаража двое мужчин возились возле разобранного, с поднятым капотом «Москвича». Отсюда ему хорошо был виден подъезд со старухами и было удобно наблюдать за прохожими — казалось, он сразу узнает хозяина пятьдесят второй, как только тот появится у своего подъезда.

И он решил никуда не ходить, дожидаться тут. Сидеть было, в общем, покойно, не жарко в тени, можно было не торопясь наблюдать жизнь нового городского квартала, который он видел впервые и в котором ему многое нравилось. Правда, мысли его то и дело возвращались к его давнему прошлому, к тем двум партизанским дням, которые в конце концов и привели его на эту скамейку. Теперь ему не было надобности припоминать, напрягать свою немолодую уже память — все, что произошло тогда, помнилось до мельчайших подробностей, так, если бы это случилось вчера. Три десятка лет, минувших с тех пор, ничего не приглушили в его цепкой памяти, наверно, потому, что все пережитое им в те двое суток оказалось хотя и самым трудным, но и самым значительным в его жизни.

Множество раз он передумывал, вспоминал, переосмысливал события тех дней, каждый раз относясь к ним по-разному. Что-то вызывало в нем запоздалое чувство неловкости, даже обиды за себя тогдашнего, а что и составляло предмет его скромной человеческой гордости. Все-таки это была война, с которой не могло сравниться ничего последующее в его жизни, а он был молод, здоров, и особенно не задумывался над смыслом своих поступков, которые в большинстве сводились лишь к одному — убить врага и самому увернуться от пули.

###### 2

Тогда все шло само по себе — трудно, тревожно, голодно, они пятые сутки отбивались от наседавших карателей, вымотались до предела, и Левчуку очень хотелось спать. Но только он задремал под елкой, как кто-то его окликнул. Голос этот показался знакомым, и сон его с той минуты ослаб, готовый исчезнуть совсем. Но не исчез. Сон был такой неотвязный и с такой силой владел организмом, что Левчук не проснулся и продолжал лежать в зыбком состоянии между забытьем и явью. В полусонное его сознание то и дело врывалось ощущение тревожной лесной реальности — шума ветвей в кустарнике, какого-то разговора поодаль, звуков негромкой, хотя и недалекой, стрельбы, которая не затихала вокруг с первого дня блокады. Однако Левчук упорно обманывал себя, что ничего не слышит, и спал, ни за что на свете не желая проснуться. Ему надо было поспать хотя бы час, кажется, он впервые в жизни заимел такое право на сон, которого теперь, кроме немцев, никто не мог лишить его в этом лесу — ни старшина, ни ротный, ни даже сам командир отряда.

Левчук был ранен.

Ранило его под вечер на Долгой Гряде, вскоре после того, как рота отбила четвертую за день атаку и каратели, постаскивав с болота своих убитых и раненых, немного успокоились. Наверно, они ожидали какого-то приказа, а начальство их медлило. Нередко случается на войне, что командир, четыре атаки которого не принесли успеха, чувствует надобность подумать, прежде чем отдать команду на пятую. Уже несколько поднаторевший в военных делах Левчук догадался, сидя в своем неглубоком, перевитом корнями окопчике, что каратели выдохлись и для роты наступил какой-никакой перерыв. Выждав еще немного, он опустил на бруствер увесистый приклад своего «дегтяря» и достал из кармана недоеденную вчера горбушку. Настороженно поглядывая перед собой на неширокое лесное пространство с осокой, кустарником и неглубоким мшистым болотцем, он сжевал хлеб, несколько заморив червяка, и почувствовал, что хочет курить. Как на беду, курево кончилось, и он, прислушавшись, окликнул соседа, сидевшего невдалеке в таком же мелком, отрытом в песке окопчике, от которого в тихой вечернем воздухе уже потянуло душистым дымком махорки.

— Кисель! Кинь «бычка»!

Кисель, немного погодя, кинул, однако не очень удачно — надломленная ветка с зажатым в разломе «бычком» упала, не долетев до окопчика, и Левчук не без опаски потянулся за ней рукой. Но достать не смог и, высунувшись из окопчика по пояс, потянулся снова. В этот момент под рукой что-то стремительно щелкнуло, по лицу стегануло хвоей, сухим песком и недалеко за болотцем ахнул винтовочный выстрел. Бросив злополучный «бычок», Левчук рванулся назад в окопчик, не сразу почувствовав, как в рукаве потеплело, и он с удивлением увидел на плече в пиджаке небольшую дырочку от пули.

— Ах ты, холера!

Это было куда как скверно, что его ранило, да еще таким глупым образом. Но ранило, и, по-видимому, серьезно: кровь вскоре густо потекла по пальцам, в плече запекло, защипало. Опустившись в окопчик и выругавшись, Левчук кое-как обернул плечо несвежей ситцевой тряпкой, в которую заворачивал хлеб, и сжал зубы. Только со временем до его сознания стал доходить весь невеселый смысл его ранения, взяла злость на себя за неосторожность, а больше на тех, за болотцем. Испытывая все усиливающуюся боль в плече, он схватился за пулемет, чтобы хорошей очередью чесануть по лозняку, из которого его так вероломно подкараулили, да только сдавленно ойкнул. От прикосновения пулеметного приклада к плечу его пронизала такая боль, что Левчук сразу понял: отныне он не пулеметчик. Тогда, не высовываясь из окота, он снова прокричал Киселю:

— Скажи ротному: ранило! Ранило меня, слышь?

Хорошо, что уже смеркалось, солнце после бесконечного знойного дня сползло с небосклона, болотце заволакивалось реденькой кисеей тумана, сквозь которую уже плохо было видать. Немцы так и не начали своей пятой атаки. Когда немного стемнело, на сосновый пригорок прибежал ротный Межевич.

— Что, ранило? — растянувшись рядом на сухой хвое, спросил он, вглядываясь в притуманенное болото, из которого тянуло пороховой вонью и повеяло вечерней прохладой.

— Да вот, в плечо.

— В правое?

— Ну.

— Ладно, что ж, — сказал ротный. — Дуй к Пайкину. Пулемет отдашь Киселю.

— Кому? Тоже нашли пулеметчика!..

В этом распоряжении ротного Левчук поначалу усмотрел что-то оскорбительное для себя: отдать исправный, ухоженный им пулемет Киселю, этому деревенскому дядьке, который как следует не освоился еще и с винтовкой, означало для Левчука сравняться с ним и во всем прочем. Но Левчук не хотел с ним равняться, пулеметчик была у них специальность особая, на которую подбирали лучших партизан, бывших красноармейцев. Правда, красноармейцев уже не осталось, и пулемет действительно вручить было некому. А впрочем, пусть ротный решает как знает, рассудил Левчук, не его это забота, теперь он раненый.

С подчеркнутым безразличием он отнес пулемет под соседнюю сосну Киселю, а сам налегке побрел в глубь леса к ручью. Там, в тылу этого обложенного карателями урочища, и размещалось хозяйство Верховца с Пайкиным, их отрядных «помощников смерти», как в шутку называли врачей партизаны. Отчасти они имели для того основание, так как Пайкин до войны работал зубным врачом, а Верховец вряд ли когда-нибудь вообще держал в руках бинт. Однако лучших врачей у них не нашлось, и эти два и лечили, и перевязывали, и даже, случалось, отрезали руки или ноги, как тому Крицкому, у которого приключилась гангрена. И ничего, говорят, живет где-то на хуторе, поправляется. Хотя и с одной ногой.

Возле ручья у шалаша санчасти уже сидело несколько человек раненых, Левчук дождался своей очереди, и доктор впотьмах, кое-как обтерев жгучей перекисью водорода его окровавленное плечо, туго стянул его самодельным холщовым бинтом.

— Суй руку за пазуху и носи. Ничего страшного. Через неделю будешь кувалдой махать.

Кому не известно, что хорошее слово доктора иногда лечит лучше лекарства. Левчук сразу почувствовал, как притихла боль в плече, и подумал, что, как только настанет утро, сразу вернется на Долгую Гряду в роту. А пока он поспит. Больше всего на свете он хотел спать и теперь заимел на это полное право...

После короткой невнятной тревоги он снова, кажется, задремал под елью на ее жестких узловатых корнях, но скоро опять услыхал близкий топот, голоса, шорох повозки в кустах и какую-то суету рядом. Он узнал голос Пайкина, а также их нового начальника штаба и еще кого-то из знакомых, хотя со сна не мог понять кого.

— Не пойду я. Не пойду никуда...

Конечно, это была Клава Шорохина, отрядная радистка. Ее звонкий голос Левчук узнал бы за километр среди сотен других голосов, а сейчас он слышал рядом, в десяти шагах от него. Сон его сразу пропал, он проснулся, хотя и не мог еще раскрыть глаз, только повел под телогрейкой раненым плечом и затаил дыхание.

— Как это — не пойдешь? Как не пойдешь? Что, мы тебе тут больницу откроем? — гудел знакомый злой бас их нового начальника штаба, недавнего комроты-один. — Пайкин!

— Я тут, товарищ начштаба.

— Отправляйте! Сейчас же отправляйте вместе с Тихоновым! До Язминок как-нибудь доберутся, а там у Лесковца перебудет. В Первомайской.

— Не пойду! — опять послышалось из темноты безысходно-тоскливое в своей безнадежности возражение Клавы.

— Поймите, Шорохина, — мягче вступил в разговор Пайкин. — Вам ведь нельзя тут. Вы же сами сказали: пора.

— Ну и пусть!

— Убьют же к чертовой матери! — кажется, не на шутку разозлился начштаба. — На прорыв идем, на пузе ползти придется! Ты понимаешь это?

— Пусть убивают!

— Пусть убивают — вы слышали? Раньше надо было, чтобы убили!

Наступила неловкая пауза, слышно было, как тихонько всхлипнула Клава да где-то поодаль стегал коня ездовой: «Каб ты сдох, вовкарэзина!» По всей видимости, тылы куда-то собирались переезжать, но Левчук все еще не хотел просыпаться, прогонять сон и даже не раскрыл глаз — наоборот, затаился, придержал дыхание и слушал.

— Пайкин! — решительным тоном произнес начштаба. — Сажайте в повозку и отправляйте. С Левчуком отправляйте, если что, он досмотрит. Но где Левчук? Ты же говорил, тут?

— Тут был. Я перевязывал.

«Вот тебе и поспал!» — уныло подумал Левчук, все еще не шевелясь, будто надеясь, что, может, вместо него позовут другого.

— Левчук! А Левчук! Грибоед, где Левчук?

— Да тут где-то спал. Я видел, — предательски просипел поодаль знакомый голос ездового санчасти Грибоеда, и Левчук молча про себя выругался: он видел! Кто его просил видеть?

— Ищите Левчука! — распорядился начштаба. — Кладите на воз Тихонова. И через гать. Пока еще там дыру не заткнули. Левчук! — зло крикнул начальник штаба.

— Я! Ну что? — с раздражением, которое теперь он не счел нужным скрывать, отозвался Левчук и не спеша выбрался из-под обвисших до самой земли ветвей елки.

Во мраке лесной ночи ни черта не было видно, но по неясным разрозненным звукам, приглушенным голосам партизан, какому-то суетному ночному оживлению он понял, что стойбище снималось с места. Из-под елок выезжали повозки, суетясь в темноте, возчики запрягали коней. Кто-то шевелился рядом, и по шороху плащ-палатки на рослой фигуре Левчук узнал начальника штаба.

— Левчук! Топкую гать знаешь?

— Ну знаю.

— Давай, Тихонова отвезешь! А то пропадет парень. В Первомайскую бригаду отвезешь. Через гать. Разведка вернулась, говорят, дыра. Можно еще проскочить.

— Ну вот еще! — с неприязнью сказал Левчук. — Чего я в Первомайской не видел! Я в роту пойду!

— Какую роту? Какую роту, если ты ранен?! Пайкин, куда он ранен?

— В плечо. Пулевое касательное.

— Ну вот, касательное. Так что давай на гать. Вот повозка под твое начало. И это... Клаву захватишь.

— Тоже в Первомайскую? — недовольно проворчал Левчук.

— Клаву? — Начштаба на секунду запнулся, казалось, он не имел определенного мнения, куда лучше отправить Клаву. И тогда из темноты тихо отозвался Пайкин:

— Клаву лучше бы в какую деревню. К бабе. К какой-нибудь опытной бабе.

— Бабе, бабе! — раздраженно подхватил Левчук и отвернулся, левой рукой сдвигая на ремне жесткую немецкую кобуру с парабеллумом, который надавил бедро. — Не хватало мне еще...

Что касалось Клавы, то он уже догадывался, в чем было, дело, но он и во сне не видел таких нелепых забот — все пойдут на прорыв, а ему отбиваться неизвестно куда, в Первомайскую бригаду, да еще при такой компании — Грибоед, Клава, этот доходяга Тихонов... Левчук, как только пришел вечером с Долгой Гряды, обратил на него внимание — десантник отрешенно лежал возле шалаша санчасти, прикрытый какой-то дерюжкой, из-под которой как чурбан торчала обмотанная бумажными бинтами его голова. Глаза его тоже были забинтованы, он не шевелился и, казалось, не дышал даже, и Левчук с непонятной опаской прошел мимо, подумав, что, наверно, отфорсил десантничек. Да и эта Клава... Было время, когда Левчук посчитал бы за счастье проехаться с ней лишний километр по лесу, но не теперь. Теперь Клава его не интересовала.

Вот же чертово это ранение, сколько оно задало ему забот и, судя по всему, еще не меньше задаст впереди! Близкий свет эта Первомайская бригада, попробуй добраться до нее через фашистскую осаду, мало что разведка сказала: дыра! Еще неизвестно, какая и куда там дыра, поеживаясь от ночной сырости, сам с собою рассуждал Левчук. Лучше бы он не отдавал Киселю пулемет и совсем не появлялся в этой санчасти.

Левчук уже собрался было поругаться с начальством и вернуться в роту, наверное, ротный бы не прогнал и он бы снова стал воевать вместе с другими, чем переться неизвестно куда и зачем. Но когда он вознамерился заявить о том, заявлять уже было некому. Начштаба пошел прочь, в кустах прошуршала и стихла его плащ-палатка, а Пайкин еще раньше исчез в темноте, Рядом, постебывая хвостом по оглоблям, стояла лошадь, возле которой, прилаживая сбрую, топал ездовой Грибоед да, тихонько всхлипывая, ждала в стороне Клава, и Левчук, не обращая ни на кого внимания, выругался:

— Подсуропили, начальнички! Ну ладно же, трясцу вашей матери!

###### 3

В сплошной темноте они ехали по лесу. Временами повозка едва не опрокидывалась на каких-то ямах и выворотнях, ветви кустарника нещадно скребли по телеге и стегали по седокам. Нагнув голову и оберегая под накинутой телогрейкой плечо, Левчук перестал уже и понимать, куда они едут. Хорошо, что Грибоед, кажется, знал местность и не спрашивал дорогу, лошадь с немалым усилием тащила повозку — думалось, едут правильно. Еще не отойдя от своей злости, Левчук молчал, слушая, как погромыхивает вокруг и больше всего сзади; иногда где-то загоралась ракета, и ее далекий дрожащий отсвет долго мерцал на верхушках деревьев, подсвечивая и без того светловатое летнее небо.

Кое-как продравшись сквозь чащобу кустарника, они наконец выехали на лесную дорожку. Повозка пошла ровнее, и Левчук уселся удобнее, слегка потеснив неподвижно лежавшего рядом десантника. Похоже, тот спал или был без сознания, и Левчук тихонько потянул за ствол его автомат, который мешал в телеге и ему и раненому. Но только он потянул автомат сильнее, Тихонов залапал подле себя рукой и цепко ухватился ею за шейку приклада.

— Н-не... Не трожь...

«Чудак! — удивленно подумал Левчук, сделав вид, что автомат его не интересует. — И чего он за него держится?..»

По правде говоря, Левчук был не прочь завладеть этим автоматом, потому как чувствовал, что скоро тот ему очень понадобится. В этой дороге вряд ли можно было избежать встречи с немцами, а у него был лишь парабеллум с двумя пачками патронов в запасе, да у Грибоеда торчала за спиной винтовка. Возможно, еще был какой-нибудь браунинг у Клавы — в общем, очень немного для того, чтобы пробиться за двадцать пять километров в Первомайскую бригаду. Особенно если за гатью немцы, что, пожалуй, так и окажется. Не может того быть, чтобы, блокировав урочище, они оставили неприкрытой гать. Мало что докладывает разведка...

Подумав так, Левчук тронул Грибоеда за локоть:

— Стой!

Ездовой потянул вожжи, лошадь остановилась, они настороженно прислушались. Погромыхивало далеко сзади, поблизости было тихо. Утихло, казалось, и под Дубровлянами, где весь вечер и ночь особенно люто грохотала стрельба, рядом отчетливо слышно было усталое дыхание лошади да шум ночного ветра в кустарнике.

— Далеко гать?

— Ды близко уже, — сказал Грибоед, не поворачивая к нему головы. — Выгарину проедем, а там соснячок и гребля.

— Туда не поедем, — решил Левчук.

— Во як! А куды ж?

— Давай куда в сторону.

— Як жа в сторону? — подумав, несогласно сказал Грибоед, по-прежнему не оборачиваясь к Левчуку. — Там болото.

— Поедем через болото.

Грибоед недолго подумал и с очевидным нежеланием свернул лошадь с дороги. Но по бездорожью лошадь идти не хотела, тем более через заросли, и ездовой, что-то ворча про себя, слез с повозки и взял коня под уздцы. Левчук тоже соскочил на землю и, оберегая здоровой рукой раненую, полез через кустарник вперед.

Он сам не знал почему, но упрямо не хотел ехать на гать, если бы даже в безопасности этой дороги его убеждали семь разведок. Гать не могла быть не занятой немцами — это он чувствовал всей своей кожей. Правда, он не знал и другой дороги, где-то тут должно начаться болото, а как перебраться через него, с лошадью и телегой, он не имел представления и успокаивал себя тем, что там будет видно. Он уже был научен войной и знал, что многое становится ясным в свое время, на месте, что любой самый дальновидный план немногого стоит, что, как ни планируй, ни обдумывай, немцы или обстановка все переиначат. За время своей партизанской жизни он привык поступать, непосредственно исходя из обстановки, а не держаться, как слепой тына, какого-то плана, через который недолго оказаться в могилевской губернии и еще потащить за собой других.

Грибоед же, кажется, рассуждал иначе, и пока они продирались сквозь заросли, раздраженно покрикивал на лошадь, обзывая ее то холерой, то злыднем, то дергал за уздечку, то хлестал по бокам кнутовищем. Левчуку начала надоедать эта его показная злобивость, и он собрался прикрикнуть на ездового, как заросли кончились. Началась луговина, вокруг посветлело, прояснилось небо над головой; по росистой траве стлался холодный туман, тянуло запахом гнили и водорослей — впереди лежало болото.

Повозка остановилась, а Левчук прошел по невысокой траве, пока под сапогами не начало чавкать. Тогда он вслушался. Издали все еще доносились выстрелы, но вблизи было тихо; потонув до половины в тумане, на болоте дремали кусты ольшаника, где-то негромко скрипел коростель, другие птицы, наверно, все спали. Левчук еще прошел немного вперед, под сапогами становилось все мягче, начался мшаник, ноги в нем завязли по щиколотку, в правом, с дырой, сапоге уже стало мокро. Но ехать тут, пожалуй, еще было можно, лошадь пройдет, а за ней пройдет и повозка.

— Эй, давай там! — негромко крикнул он в серый туманный сумрак.

Левчук ожидал, что Грибоед вскоре тронется и догонит его, но минуту спустя, ничего за собой не услышав, он рассердился. Видно, этот ездовой слишком много брал на себя, чтобы не слушаться старшего, каким тут все-таки был назначен Левчук. Немного выждав, он скорым шагом вернулся к опушке и застал повозку на том самом месте, где и оставил ее. Похоже, Грибоед и не думал двигаться и, ссутулясь в своем кургузом немецком мундирчике, стоял возле лошади.

— Ты что?

— А куды ж ехать?

— Как куды? За мной едь! Куда я иду, туда и езжай.

— В болото?

— Какое болото! Держит же.

— Тут пока держить, а далей багна. Ужо я ведаю.

Левчук готов был вскипеть — он ведает! Багна — значит, надо перебираться через багну, не сидеть же тут до рассвета — разве этот ездовой первый день на войне?

Но он знал, что Грибоед не первый день на войне, что он, может, не меньше других научен этой войной, и это сдерживало Левчука от того, чтобы обругать ездового. Он только удивился, услышав, как тот недовольно заворчал о гати.

— Сказали же, через гать треба. Так же сказали? А то — болото...

— На гать, говоришь, да? — взъярился Левчук. — Тебя сколько раз стреляли? Два раза стреляли? Ну так вот, на гати застрелят в третий. В третий уже хорошо стреляют. — И, смягчившись, добавил: — Что тебе немцы — дураки гать так оставить? Мало что начальник сказал. Надо и свою голову иметь.

Покорно выслушав его, Грибоед трудно вздохнул:

— Так што ж! Я не против. Но как только?

— Двигай за мной!

Повозка медленно и бесшумно покатилась по невысокой траве, к самому краю болота. Лошадь все чаще стала припадать то на переднюю, то на заднюю ногу, которые временами проваливались глубоко, и, чтобы вытащить их, надо было сильно опереться остальными, и тогда проваливались эти остальные. Она все время дергалась так, стараясь выбраться на более твердое, только твердого тут, наверное, оставалось все меньше. Клава тоже слезла с повозки и шла сзади, Грибоед, часто останавливаясь, брал лошадь за уздечку и вел точно по следам Левчука. Но вот пришло время, когда и Левчук остановился: начинались заросли осоки, трясина; над болотистым пространством ползло низкое клочье тумана, между которым тускло поблескивали частые окна стоячей воды.

— Ну вот и въехали! — выдохнул Грибоед и притих возле лошади, от которой клубами валил пар, лошадиные бока ходили ходуном в одышке. Задние ее ноги уже до колен утопли в болоте.

— Ничего, ничего! А ну обожди, пусть конь передохнет.

Левчук бросил в повозку телогрейку и, хватаясь здоровой рукой за низкорослые кусты ольшаника, решительно полез в болото, забирая несколько в сторону, наискосок, — так еще можно было держаться. Он уже не берег своих ног, которые до колен были мокрые, в сапогах хлюпало и чавкало, мешала раненая рука, и он держал ее на груди, засунув за пазуху. Очень скоро он провалился, едва не до пояса, как-то выбрался под ольховый куст, где вроде бы было потверже, — надо было прикинуть, в каком направлении двигаться дальше.

— Эй, давай сюда!

Повозка дернулась, лошадь выбросила по ходу переднюю ногу и сразу же провалилась по самый живот. Левчук, оглянувшись, подумал: вылезет — но не вылезла. Лошадь бросалась в стороны, билась, но выбраться из ямы не могла. Тогда он, булькая сапогами в жидкой грязи, вернулся и, пока Грибоед тянул коня за уздечку, уперся здоровым плечом в зад повозки. Минуту он толкал ее изо всех сил, намокнув по грудь, и повозка, как-то свалившись на бок, выползла из топи. Сзади, подобрав над белыми коленками юбку, перебралась через развороченное место Клава.

— О господи!

— Вот тебе и господи! — язвительно подхватил Левчук. — Закаляйся, понадобится.

Он снова отправился вперед, шаря в воде ногами. Но всюду было глубоко и зыбко, и он по пояс в воде с немалым усилием долго брел по трясине. Однако пригодного пути тут, наверно, не было. Он прошел сотню шагов, но так и не достиг берега — всюду была топь, осока, травянистые кочки и широкие окна черной воды, над которыми курился сизый туман. Тогда он вернулся к повозке и ухватился рукой за оглоблю.

— А ну взяли!

Грибоед потянул за уздечку, лошадь послушно шагнула раз и другой, напрягла все свои силы, повозка немного сдвинулась с места и остановилась.

— Давай, давай!

Они вдвоем не на шутку впряглись вместе с лошадью: Левчук тянул за оглоблю, Грибоед с другой стороны — за гуж, лошадка билась, дергалась, все глубже погружаясь в черную, разбитую ногами жижу. Она старалась и смело шла, казалось, в самую прорву, куда ее вел ездовой, сверхлошадиным усилием волоча за собой телегу, колеса которой уже погрузились в трясину. Все они были по грудь в воде и в болотной жиже; по лицу и спине Левчука лился пот. Сзади, как могла, толкала телегу Клава.

Наверное, они пробарахтались бы до утра в этой прорве, а конца болота все не было. И тогда пришло время, когда все молча остановились. Чтобы окончательно не погрузиться в болото, они держались за оглобли и телегу; по хребет ушедшая в воду лошадь вытянула вперед голову, стараясь как-то дышать. Казалось, если бы не повозка сзади, то она бы поплыла по этой топи. Только куда было плыть?

Левчук впервые засомневался в правильности своего выбора и пожалел, что сунулся в это болото. Может, действительно лучше было ехать на гать — авось проскочили бы. А теперь ни взад ни вперед, хоть дожидайся рассвета. Или бросай тут повозку и неси на себе десантника. Хорошо еще, что Клава не упрекала, терпела все молча и даже в меру своих сил толкала повозку.

— Вот влезли так влезли! — сокрушенно сказал Левчук.

— Я же говорил! — живо подхватил Грибоед. — Влезли, як дурни якия. Як теперь вылезем?

— Может, с километр проехали, — тихо отозвалась сзади Клава. — О, боже, я уже не могу...

— Треба назад, — сказал ездовой. — А то и коня утопим, и этого. Да и сами. Тут окна есть — ого! По голову и еще останется.

Левчук растерянно вытирал рукавом лоб и молчал. Он сам не знал, как теперь быть, куда податься: вперед или назад? Да и сил почти уже не осталось ни у лошади, ни у людей: все до конца вымотались. Действительно, чем так выкладываться, подумал Левчук, может, лучше попытаться проскочить через гать?

— Стойте! — немного отдышавшись, сказал он. — Я посмотрю.

Он снова полез в болото, стараясь как можно меньше плескаться в воде, и в одном месте так провалился в окне, что едва не скрылся весь, с головой. Все же кое-как удержался, ухватившись за кочку, но кочка, все ниже оседая в воду, оказалась плохой опорой, и он понял, что долго на ней не удержится. Тогда он резко отпрянул в сторону, к травяным зарослям, где оказалось помельче, и побрел, как он думал, не поперек, а вдоль по болоту. Теперь он уже не думал о том, как одолеть это проклятое болото. Теперь бы не утопить лошадь и не утонуть самому. Действительно, тут начиналась, пожалуй, самая глубь, прогалы воды стали шире, меньше стало травы, лоза и ольшаник совсем исчезли. Тут уже кстати была бы лодка, а не лошадь с повозкой, и Левчук в который раз выругал себя за опрометчивость. Как нелепо все получилось, обеспокоенно думал он, наверно, придется выбираться тем же путем назад.

С этой еще окончательно не оформленной мыслью он качал пробираться к повозке, одиноко застывшей посреди болота с двумя фигурами возле. Они терпеливо дожидались его, но скоро должно было начаться утро, а утром им на голом болоте не место.

Но Левчук еще не дошел до них и ничего не придумал, как недалеко в ночи стремительным эхом прокатился по лесу выстрел. Через секунду ему ответил второй, дробным треском рассыпалась пулеметная очередь, глухо и важно ахнул миномет, и мина, звонко пропев в самой высоте неба, лопнула где-то в лесу. И тут началось — загрохотало, завизжало, заахало, удивительно, откуда что и взялось в этой сонной туманной ночи.

Они все замерли там, где стояли. Левчук, разинув от удивления рот, впился в ночь, стараясь что-то понять или увидеть в ней, но в затуманенном полумраке ничего не было видно. И тут он почти содрогнулся в торжествующей злой догадке.

— На гати, ага?

— На гати, — уныло подтвердил Грибоед.

И они стояли, раздавленные сознанием внезапной беды, обрушившейся на других, и почти почувствовав, как просто эта беда могла обрушиться на них, четверых. Но они вот избежали ее, а каково сейчас тем, кто попал под этот огонь? Слушая стрельбу, все думали: кто кого? Но тут, наверно, нечего было и думать: стреляли немцы, весь огонь шел с той, их стороны. Опять же и минометы — в отряде минометов не было. Значит, кто-то все-таки не удержался от соблазна проскочить по гати, понадеявшись на разведку, и теперь вот расплачивается. Теперь там невесело.

И Левчук, знобко ежась от стужи или от осознания своей неожиданной удачливости, с радостным озлоблением набросился на своих помощников:

— Ну вот, вашу мать! А вы — назад! А ну давай вперед! Изо всех сил вперед! Раз, два — взяли!

Прислушиваясь к стрельбе, они снова взялись толкать и тянуть повозку, стегать и понукать выбившуюся из сил лошаденку. Однако силы у них были уже не те, что вначале, да и повозку, наверно, засосало как следует. Напрасно помучившись, Левчук разогнулся. Перестрелка на гати все громыхала в ночной дали, и он, немного передохнув, снова полез в болото, забирая то влево, то вправо, широко шаря в воде ногами. Хорошо, что сапоги у него были кожаные, не кирзачи, намокнув в воде, они сели, плотно обтянув ноги, и не спадали, иначе бы он скоро остался босой.

Он решил прежде сам отыскать какой-нибудь путь к берегу, если только где не провалится с головой в прорву, а уж потом вывести за собой повозку. Теперь он перестал обращать внимание на глубину, все равно по шею был мокрый, и, хватаясь рукой за кочки, где шел, а где плыл, раздвигая грудью густую, вонючую топь. Слух его при этом все время ловил звуки боя на гати, который то затихал, то начинался снова, и было трудно понять, чья там берет верх. Может, наши сбили немецкий заслон, а может, заслон перестрелял партизан.

«Ну и дураки, — думал Левчук. — Зачем было переть на рожон, лучше уж так, по болоту. Если только там, за болотом, тоже не засели немцы...»

Удивительное дело, но теперь ему вовсе не казалось страшным болото, скорее наоборот: страшно было там, на дороге и гати, а болото не впервые уже укрывало его, спасало, теперь он просто любил болото. Только бы оно не оказалось бездонным и, конечно, не очень бескрайним.

Как-то неожиданно для себя он различил в тумане вершины кустарника и с радостью понял, что это берег. В самом деле, через каких-нибудь двадцать шагов болото кончилось, за неширокой полосой осоки виднелись кусты ольшаника, перед которыми расстилалась лужайка с прокосами свежей травы. Он не стал даже вылезать на сухое, живо повернул назад, в болото, и по пояс в воде побрел к повозке. В этот раз он едва не потерял ее, пройдя в тумане дальше, чем следовало, но услышал сзади тихое хлюпанье воды и вернулся. В полузатопленной телеге сидела Клава, наверно, спасала от воды десантника, Грибоед бултыхался возле коня, не давая тому совсем погрузиться в болото. Они молчаливо дожидались его.

— Вот что! — сказал Левчук, хватаясь за оглоблю. — Надо по отдельности. Распрягай лошадь, перевезем Тихонова, потом, может, повозку. Берег тут, недалеко...

###### 4

Начинало светать, когда в белом, как молоко, тумане они выбрались наконец из болота. Потерявшего сознание Тихонова вывезли верхом, взвалив на мокрую спину лошади, которую вел под уздцы Левчук; Грибоед и Клава поддерживали раненого по сторонам. Ездовой, кроме того, тащил дугу и седелку, которые он не захотел бросить в болоте, где осталась затопленная их повозка. Но повозку они надеялись достать в какой-либо деревне — была бы лошадь да упряжь.

На берегу у них едва нашлось силы снять с лошади обмякшее тело десантника, они уложили его в прокосе на мокрую от тумана траву и сами попадали тут же. Подняв ногу, Левчук вылил из левого сапога жидкую грязь, из правого она вытекала сама через дырку. Грибоед летом ходил по-крестьянски босой, и теперь у него не было забот с обувью. Вынув из винтовки затвор, он продувал ее забитый грязью ствол. Рядом тихонько лежала Клава, и над всеми, низко опустив голову и лихорадочно дыша запавшими боками, стояла лошадь с мокрым хомутом на шее.

— Ну вот! А вы говорили! — с усталым удовлетворением выдохнул Левчук.

Одним ухом он ловил нечастые уже выстрелы с гати, а другим чутко прислушивался к обманчивой тишине этого болотного берега. Тут как раз начиналось самое опасное, на каждом шагу им могли встретиться немцы. Сторожко поглядывая по сторонам, чтобы быть готовым к любой неожиданности, он левой рукой вынул из размякшей кожаной кобуры свой парабеллум, вытер его о полу пиджака. Две картонные пачки с патронами раскисли в воде, и он выбросил их на траву, ссыпав патроны в карман. Затем подобрал с земли автомат Тихонова. Десантник был без сознания и только бормотал что-то, пока они возились с ним на болоте, а теперь и вовсе затих. Жаль, что при автомате был всего один магазин, Левчук отомкнул его и взвесил в руке, но магазин, пожалуй, был полон. Чтобы убедиться в том, он хотел снять крышку, но передумал: становилось чертовски холодно. Мокрая одежда студила тело, сушиться же пока было негде, приходилось ждать, когда поднимется солнце. Хотя небо над лесом совсем прояснилось, но до восхода еще оставалось около получаса. И тогда на стылой сырой траве задвигался раненый.

— Пить... Пить!

— Что? Пить? Сейчас, сейчас, браток! Сейчас мы тебя напоим, — с готовностью отозвался Левчук. — Грибоед, а ну сходи, посмотри, может, ручей где.

Грибоед вставил в винтовку затвор и не спеша побрел в тумане по берегу, а Левчук перевел взгляд на Клаву, тихонько дрожавшую рядом. Мимолетное ощущение жалости к ней заставило его скинуть с плеча подмоченную его телогрейку.

— На, укройся. А то...

Клава укрылась и снова прилегла боком на травяном прокосе.

— Пить! — опять требовательно произнес десантник и зашевелился, будто испугался чего-то.

— Тихо, тихо. Сейчас принесет пить, — придержала его Клава.

— Клава? — по голосу узнал девушку раненый. — Клава, где мы?

— Да тут, за болотом. Лежи, лежи...

— Мы прорвались?.

— Почти да. Ты не беспокойся.

— Где доктор Пайкин?

— Пайкин?

— Зачем тебе Пайкин? — сказал Левчук. — Пайкина тут нет.

Тихонов помолчал и, будто заподозрив неладное, испуганно зашарил подле себя по траве.

— Автомат! Где мой автомат?

— Тут твой автомат. Куда денется, — сказал Левчук.

Но раненый требовательно протянул руку:

— Дай автомат.

— На, пожалуйста! Что только ты с ним будешь делать!

Слепо придвинув к себе оружие, десантник вроде успокоился, хотя этот его покой и оставался заметно напряженным, как перед новым рывком. И действительно, вскоре без всякой связи с предыдущим Тихонов глухо спросил:

— Я умру, да?

— Чего это ты умрешь? — нарочно грубовато удивился Левчук. — Вынесем, жить будешь.

— Куда... Куда вы меня несете?

— В одно хорошее место.

Тихонов помолчал, подумав о чем-то, и снова вспомнил о докторе.

— Позовите доктора.

— Кого?

— Доктора Пайкина позовите! Или вы оглохли? Клава!

— Доктора тут нет. Он куда-то пошел, — нашлась Клава и ласково погладила десантника по рукаву.

Тот облизал запекшиеся губы и растерянно заговорил дрогнувшим голосом:

— Как же... Ведь мне надо знать. Ослеп я. Зачем я слепой? Я не хочу жить.

— Ничего, ничего, — бодро сказал Левчук. — Еще захочешь. Потерпи немного.

— Мне надо... Мне надо знать...

Раненый замолк на полуслове. Левчук с Клавой переглянулись — мало еще им забот, — и Клава сказала тихонько:

— Не повезло Тихонову.

— Как сказать, — несогласно заметил Левчук. — Война не кончилась, еще неизвестно, кому повезло, а кому нет.

Вскоре пришел Грибоед с шапкой, полной воды, которую он, не найдя ручья, зачерпнул из болота. Но десантник, видно, опять был в беспамятстве. Ездовой нерешительно потоптался с шапкой в руках, из которой лилась вода.

— Котелка нет? — спросил Левчук.

— Нет.

— Эх ты, дед-Грибоед! Незапасливый ты.

— Я такий дед, як ты внук. Мне сорок пять годов только, — обидчиво сказал ездовой и выплеснул воду.

— Тебе? Сорок пять?

— Ну.

— Гляди-ка. А я думал, все шестьдесят. Чего же ты такой старый?

— Того, — уклончиво бросил Грибоед.

— Дела! — вздохнул Левчук и перевел разговор на другое. — Надо посмотреть, может, где деревня какая.

— Залозье тут где-то, — отвернувшись, сказал ездовой. — Не спалено еще было.

— Тогда пойдем.

— А коли это самое... А коли там немцы?

Если там немцы, то, конечно, идти не годилось. Наверно, было бы лучше разведать сначала одному, а остальным подождать в кустах. А то в случае чего с раненым им не очень легко будет уйти от беды, которая могла тут настигнуть их всюду. Только ждать в этой мокряди возле болота у них не хватало терпения, и на прокосе первой зябко зашевелилась Клава.

— Левчук, надо идти, — со сдержанной настойчивостью сказала она.

— Вот видишь! Надо, значит, идти.

Они не сразу, по одному, повставали, взвалили на лошадь раненого, все не выпускавшего из рук автомата, который они кое-как приладили к хомуту. Нащупав оружие, Тихонов обхватил руками скользкую, в тине, шею лошади и положил на нее желтую, в бинтах, голову. Придерживая его с двух сторон, они повели лошадь на край лужка, где в тумане обрывался кустарник и как будто начиналось поле.

Несколько минут спустя между низкорослых кустов ольшаника показалась опушка, и они, чтобы обойти открытое поле, свернули по ней в сторону. Изголодавшаяся лошадь то и дело хватала из-под ног пучки высокой травы, раненый едва не падал с ее спины, и они с усилием удерживали его на лошади, которую Грибоед сердито пинал кулаком в бок и ругался:

— Тихо ты, вовкарэзина! Не нажрэшся...

— Ну чего ты? — сочувственно сказал Левчук. — Она ведь тоже живая, есть хочет.

Небо быстро светлело. Туман с болота почти уже сошел, стало видать далеко; впереди над лесом багровым пожаром пылал край неба, вот-вот должно было взойти солнце. В утренней лесной сырости было чертовски холодно, людей пребирал озноб, мокрая одежда не сохла и все липла к телу; в раскисшей обуви скользили и чавкали ноги. У Левчука к тому же вовсю болело плечо. Стараясь как можно меньше им двигать, он левой рукой поддерживал под мышку десантника, а сам все шарил по сторонам взглядом, с нетерпением ожидая увидеть это Залозье.

Но, судя по всему, место им попалось лесное, довольно пустынное, до деревни, наверно, надо было потопать. И они медленно шли, после суматошной ночи едва передвигая ноги и с трудом отгоняя от себя сон. Более-менее благополучно преодолев болото, Левчук немного успокоился и теперь думал о том, как там обошлось на гати — прорвался отряд или нет? Если нет, то сегодня там будет жарко. Этих карателей наперло пропасть, а в отряде давно уже было туговато с патронами и, наверно, вовсе не осталось гранат. Командир, в общем, правильно решил прорываться, но куда? Интересно еще, кого это он пустил на гать, уж не тылы ли с санчастью, которые, конечно, там и остались. Называется, понадеялись на разведку.

Когда-то Левчук тоже воевал в разведке и отлично знал цену некоторых ее докладов. Сходят в разведку, а многое ли удается узнать о противнике? А начальство требует предельной ясности, ну и понятно: немало догадок выдается за истину. И он вспомнил, как год назад, будучи разведчиком, ездил в Кировскую бригаду за первой в отряде рацией, присланной для них из Москвы.

Новость о том, что у них будет рация, наделала тогда немало радостного шума в отряде — шутка сказать, они смогут поддерживать связь непосредственно с самым главным партизанским штабом в Москве. Командиры провели по этому поводу митинг, выступали партизаны, комиссар Ильяшевич — все брали на себя обязательства, обещали, клялись. В неблизкий поход за радистами выделили троих лучших разведчиков во главе с Левчуком, который тогда тоже был лучший, не то что сейчас. Вечером перед выездом комиссар с начальником штаба долго инструктировали их: как ехать, что с собой взять, как разговаривать с гостями, что можно сказать, а чего и не надо. Такого инструктажа Левчук не помнил ни до, ни после того, отправляли как на самое важное задание.

Был март, кончалась зима, все веселее светило солнце. Днем хорошо подтаивало, а ночью под утро дорога была как стекло, санки бежали со звоном и шорохом: цокот копыт по ледку был слышен, казалось, на всю округу. В одну ночь они отмахали шестьдесят километров и к утру появились в штабе Кировской, где и встретили своих радистов. Старшим из двоих был сержант Лещев — немолодой, болезненного вида человек с желтым лицом и прокуренными до желтизны зубами, который им не понравился с первого раза: слишком уж придирчиво стал выяснять, где располагается отряд, как они поедут, удобны ли сани, насколько отдохнули кони и есть ли чем укрыться в дороге, потому что у него хромовые сапоги на одну портянку. Они достали для него попону и еще укутали ноги соломой, и то он все мерз и жаловался на сырость, дурацкий климат и специфические партизанские условия, которые для него не годились. Зато радисточка очаровала всех с первого взгляда, такая она была ладненькая в своем новеньком белом полушубочке и маленьких валеночках, мило поскрипывавших на утреннем морозце; уши ее цигейковой шапки были кокетливо подвязаны на затылке, на лбу рассыпалась светлая челочка, а на маленьких руках аккуратно сидели маленькие меховые рукавички с белым шнурком, закинутым за воротник полушубка. Не в пример сержанту ей здесь все нравилось, и она без конца смеялась и хлопала рукавичками, восторженно радуясь лесу, березовой роще, дятлу на елке. А когда по дороге увидела белку, игриво летавшую в ветвях, остановила сани и побежала за ней по снегу, пока не промочила валенки. Ее нежные щечки с ямочками по-детски раскраснелись, а глаза излучали столько веселья, что Левчук просто проглотил язык, забыв весь их вчерашний инструктаж. Он мучительно перебирал в голове и не находил ни одной подходящей фразы, которую было бы кстати произнести при этой девушке. Остальные тоже онемели, будто оглушенные ее девичьей привлекательностью, и только дымили в санях самосадом. Наконец она не могла не заметить этой неестественной скованности ее спутников и, мило прикидываясь, что не понимает, в чем дело, спросила:

— Мальчики, ну что же вы молчите? Вроде не русские...

Тут она, между прочим, попала в точку. Из них троих русского не было ни одного — был украинец Зеленко и два белоруса, Левчук и Межевич. И этот Зеленко, который, кроме как на своем родном языке, не мог ни слова сказать по-другому, пошутил некстати:

— А мы — нимцы!

И надо же было тогда Левчуку в тон Зеленко выкинуть свою еще более нелепую шутку, которую ему и теперь вспоминать стыдно. Но кто знал, что так обернется. Сидя сзади в санях, он при тех глупых словах Зеленко вдруг распахнул на себе тулуп, под которым с зимы для тепла носил суконный, со множеством галунов и нашивок трофейный мундир, и крикнул:

— Хэнде хох!

Не успели они опомниться, как их новый радист опрометью кувыркнулся с саней и скрылся за канавой в густой полосе молодого ельничка. Удивленный Зеленко придержал коня, они молча уставились взглядами в ельник, откуда, направленный на них, торчал вороненый ствол ППШ.

— Стой! Ни с места! — прозвучал оттуда чужой, напуганный голос.

Они еще не сообразили, как реагировать на все это, как рядом, в санях, раздался заливистый озорной смех их радистки. Откинувшись на соломе, она безудержно хохотала, уронив на дорогу шапку, из-под которой вывалилась целая копна светлых, бережно подрезанных волос.

— Ой, не могу! Ой, кончаюсь!..

Несмело поддаваясь ее веселью, они заулыбались, с опаской поглядывая на ельник, откуда не сразу, настороженно, вылез радист. Не опуская автомата, он остановился на дороге, будто не зная, как отнестись ко всему этому и прежде всего к обескураживающему смеху его напарницы.

Наконец, вволю насмеявшись, она взяла с дороги шапку и аккуратно подобрала в нее рассыпавшиеся волосы.

— Ладно, Лещев, хватит! Посмешили партизан...

Лещев после этих слов нерешительно опустил автомат, подошел и боком сел на самый задок саней, будто еще не веря, что напрасно испугался сам и напрасно напугал остальных. Все замолчали, было неловко, радистка с трудом отходила от своего долгого смеха.

А на другой день она плакала.

Какой-то отряд в Волкобродском урочище ввязался в бой с полицаями, и разведчики вынуждены были объезжать это неподходящее место, припозднились и заночевали в знакомой деревне у связного. Дядька хорошо принял их, натопил в хате и разостлал на полу куль соломы, на котором они и улеглись спать. Радистка же попросилась на печь, к хозяйке, где она никогда в жизни не спала. Она долго и подробно расспрашивала хозяйку, как и что там нагревается, куда идет дым, какие и для чего травы торчат по углам и что в мешочках в печурке. Перед тем как лечь спать, они распределили время охраны во дворе, хотя дядька и взялся охранять их сам, но Левчук не хотел полагаться на одного дядьку. Чтобы никто не остался в обиде, как это было заведено в разведке, бросили жребий — каждый вытащил из его шапки бумажку с обозначенным на ней часом заступления на пост. Всем по два часа за ночь — такая работа! Она также захотела стоять наравне со всеми и вытащила бумажку четвертой смены, с трех до пяти — самое неудобное и сонное время ночи. Стоявший до трех Левчук предложил поменяться, но она ни за что не согласилась, она хотела исполнять свои партизанские обязанности наравне со всеми. Левчук не очень настаивал, он старался угождать ей во всем и ночью, отстояв свое время, продрогший от холода, зашел в хату. На загнетке мерцала заставленная заслонкой коптилка, храпели на соломе ребята, он тихонько протопал в промерзших сапогах к запечью и позвал радистку. Она не отозвалась, а иначе будить он не решился, он просто не отважился дотронуться своей рукой до ее высунувшегося из-под одеяла остренького в гимнастерке плеча. Позвал еще раз, но она так сладко спала, что он третий раз звать не стал, погрел возле печи руки и вышел. Он отстоял и еще два часа — за нее, а потом уже разбудил ребят, и они начали собираться в дорогу.

Вот тогда она и расплакалась.

Плакала от обиды на себя, оттого, что так безбожно проспала свою первую в жизни боевую службу и что они так некстати пожалели ее. Весь следующий день она была угнетенно-молчаливая, и Левчук ругал себя за нерешительность, за робость, но ведь он же хотел как лучше. Он мерил на свой партизанский аршин, кто знал, что у этой москвички свои, иные, чем у него, мерки...

###### 5

Кустарник на опушке сворачивал в сторону, впереди лежало картофельное поле, а деревни не было видно. Они ненадолго остановили коня, осмотрелись. От самой опушки в поле тянулись свежие, наверно, только на днях окученные борозды картофеля с фиолетовыми звездочками на сочной ботве, и они вошли в них. Бороздой пошире повели лошадь, сами пошли рядом.

Ботва была не очень высокой и не мешала идти. Поодаль виднелся ряд каких-то деревцев и кустарника, дальше была лощина, и за ней темней хвойный лес. Где было нужное им Залозье, никто из них не знал.

Они шли молча, часто поправляя на лошади Тихонова, который начал сползать на сторону. Постанывая и свесив голову, раненый, однако, цепко держался за автомат, надетый ремнем на хомут. Было похоже, что он в сознании, и действительно, минуту спустя десантник выдавил сквозь сжатые зубы:

— Долго еще?

— Что — долго? — не понял Левчук.

— Мучиться мне еще долго?

— Недолго, недолго. Потерпи малость.

— Где немцы?

— Да нет тут немцев. Чего ты боишься?

— Я не боюсь. Я не хочу без толку мучиться.

Левчук не стал разубеждать его: он чувствовал какую-то его правду и признавал за ним право требовать. Он уже насмотрелся на разных раненых и знал, что тяжелые иногда словно дети — и капризные, и привередливые, — и что обращаться с ними надо по-хорошему, с лаской. Правда, иногда надо и построже. Строгость годилась для каждого, хотя не всякий раз ее позволяла совесть, некоторых просто жаль было донимать строгостью.

Они еще недалеко отошли от опушки, как вдруг сзади раздался встревоженный голос Клавы:

— Левчук! Левчук, глянь!

Левчук оглянулся — девушка присела в борозде и, втянув голову в плечи, смотрела в сторону, где в реденьком кустарнике не более чем в километре от них стояло несколько крытых брезентом машин, между которыми расхаживали фигуры в зеленом. Это были немцы.

Левчук только взглянул туда, и в его груди что-то недобро оборвалось от пронзительно ясной мысли — попались! Попались-таки хорошо — среди поля, с конем, теперь что?..

Но бежать, наверно, было уже поздно. Грибоед сразу упал, весь скрывшись в ботве, и Левчук рванул на себя тяжелое тело десантника. Одной рукой он не смог его удержать, и они вместе рухнули в картошку. Тихонов застонал, но тут же притих, растянувшись в борозде, а лошадь, оказавшись предоставленной себе самой, озадаченно уставилась вдаль на дорогу.

— Вот влезли так влезли! Это тебе не болото! — минуту спустя просипел Грибоед.

Левчук хотел было податься поближе к лошади, чтобы стащить с хомута автомат, но автомата там не оказалось, наверно, падая, его сгреб с собою десантник. Тогда Левчук осторожно выглянул из ботвы: прикрытые кустарником машины находились на прежнем месте, из одной, кажется, кто-то вышел, вдали тихо брякнула дверца. Наверно, там проходила дорога, и немцы остановились на ней по какой-то своей временной надобности. Похоже, в в поле они не смотрели и ничего еще не заметили.

А может, они скоро уедут?

В тягостном ожидании партизаны затаились среди росистого с ночи картофеля. Над лесом тем временем взошло солнце и широко разложило над полем блестящий веер прохладных с утра лучей. Наверно, эти лучи слепили немцев, которые потому и не замечали посторонних в поле.

Солнце поднялось выше, а они все лежали, неизвестно чего ожидая и на что надеясь. Тихонов держался спокойно, не двигался и молчал, хотя, как показалось Левчуку, слышал и понимал все, что здесь происходило. Левчук то и дело выглядывал из ботвы и скоро заметил, что там, на дороге, уже кто-то стоит лицом к полю и смотрит в их сторону. Наверно, то же заметил и Грибоед, который злым шепотом принялся отгонять лошадь.

— Пошла! Пошла прочь! Прочь ты, холера!..

Но было уже поздно: немцы наверняка увидели одинокую лошадь в поле. Вскоре к первому подошел второй — высокий, в длинной шинели немец с ведром в руке, недолго они поговорили о чем-то, размахивая руками и всматриваясь в их сторону. И Левчук с уверенностью понял, что немцы их еще не заметили, заметили только лошадь.

А вдруг они пойдут за ней в поле?

Эта мысль не на шутку встревожила Левчука, и он тоже зашикал на их бедную, еще не обсохшую с ночи лошадку.

— Прочь отсюда! Прочь! А ну прочь! Пошла!..

Неразумное животное постояло, пооглядывалось по сторонам и без всякого внимания к непонятным окрикам ее хозяев стало обрывать губами ботву. Левчук едва не завыл с досады, но он не мог подняться, чтобы отогнать лошадь. Он не мог даже как следует замахнуться на нее.

— Грибоед! Грибоед! Отгони! Скорее отгони!

— Пошла, холера! Прэчь! А ну прэчь! Пошла!.. — громким шепотом старался Грибоед отпугнуть лошадь, но та, повернувшись поперек борозд, спокойно щипала молодую ботву.

— Чтоб ты издохла! Чтоб тебя волки съели!..

Если бы она издохла, для них бы, наверно, наступило облегчение. Но издыхать она явно не собиралась, а, дорвавшись до ботвы, спешила насытиться, хотя и с хомутом на шее. И они, приуныв, съежились в своих бороздах, то и дело с тревогой выглядывая на дорогу.

— Что, немцы далеко? — забеспокоился раненый.

— Тихо! Лежи ты!.. — одернул его Левчук.

— Немцы далеко?

— Тихо! Какое далеко... Вон, на дороге...

— Сюда идут?

— Да нет. Лежи...

— Как же нет, — просипел в своей борозде Грибоед, который, выглянув, тут же скрылся в ботве. — Идут уже.

Левчук только на какую-то долю секунды высунул из картошки голову, но и той доли было достаточно, чтобы увидеть, как два немца, неторопливо перешагивая через борозды, направлялись к ним. Что к ним, в том не было никакого сомнения — направление их движения Левчук определил точно. Но лошадь, похрупывая ботву, уже удалилась шагов, может, на двадцать, может быть, со временем она отошла бы и дальше. Слабая надежда мелькнула в сознании Левчука, только в ней и было спасение — другого но находилось.

— Где немцы? — снова встревожился Тихонов.

— Тихо! Замри!

— Где немцы? Идут?

— Идут! Тих...

— Брать идут? Нет уж, меня не возьмут!..

Последние его слова, которые он почти выкрикнул, предчувствием новой беды встряхнули Левчука. Через ботву он бросился к раненому, как вдруг от него в сторону брызнула и рассыпалась по картофелю автоматная очередь.

Теряя самообладание, Левчук рванул у него автомат, посчитав в запале, что десантник выстрелил в немцев. Но тут же он увидел разодранный и окровавленный бинт на запрокинутой его голове, из которой, впитываясь в мягкую землю, медленно плыла кровь. Тогда он понял другое и вскочил, оборвав ремень автомата. С колена, не целясь, он дал короткую очередь в сторону немцев, которые сначала остановились в картошке, а потом прытко бросились назад, к дороге. Рядом звучно бахнул винтовочный выстрел Грибоеда, Левчук крикнул: «Беги!», и они, пригибаясь, изо всех сил побежали назад, к опушке.

— Ах ты, дурак!.. Ах, обормот! — на бегу ругался Левчук, такого он не ожидал. По сути, это было предательством. Он не посчитался ни с кем, он заботился только о самом себе. О своей легкой смерти... Левчук быстро догнал Клаву, тоже бежавшую на опушку. На бегу они то и дело оглядывались на машины, куда уже добежали немцы и откуда прозвучало несколько выстрелов из винтовок — пули с тугим свистом прошли над головами. Но от дороги до опушки было все же не близко, и погодя Левчук начал обретать прежнюю уверенность, поняв, что они уйдут. Кустарник был рядом, в кустарнике далекие выстрелы им не страшны.

Прежде чем забежать за кусты, Левчук оглянулся: несколько немцев возле машин смотрели им вслед. Но, наверно, не надеясь попасть, они не стреляли. Поодаль в картофеле, помахивая хвостом, сиротливо стояла лошадь с хомутом на шее. Тихонова отсюда уже не было видно.

— Балда стоеросовая! — не мог успокоиться Левчук. — Столько мучились с ним. А он...

Один за другим они скрылись в кустарнике и долго еще шли и бежали, стараясь как можно дальше уйти от этого злополучного места. Кустарник был тут негустой, с березнячком и редкими молодыми елками, места, что казались погуще, Левчук обходил стороной. Они могли бежать и быстрее, если бы не все время отстававшая Клава, которую они боялись тут потерять и сдерживали свой шаг. Девушка с немалым усилием догоняла их и, чтобы не упасть, хваталась руками за стволы и ветви деревьев. Чувствовала она себя плохо, Левчук видел это, но тут останавливаться не годилось, надо было уходить как можно дальше, и он упрямо стремился вперед.

Спустя какое-то время они выбрались из мелколесья на широкую луговую пойму с редкими кустами лозняка в высокой траве. На краю ее Левчук позволил себе задержаться, чтобы отдышаться и подождать Клаву. Немцы их, кажется, не преследовали, но внутри у него все мелко дрожало, и он думал, что они только чудом избежали гибели. И все через Тихонова, который убил себя, на что, конечно, он имел полное право, но ведь тем самым он едва не погубил и остальных. Пристально всматриваясь в кусты на лугу, чтобы опять не наскочить на немцев, он почему-то не в лад со своим настроением подумал: а может, десантник их спас? В самом деле, если бы он не выстрелил и тем не испугал немцев, те, разумеется, подошли бы ближе и наверняка обнаружили бы их в картофеле. Стала бы неизбежной стычка, в которой еще неизвестно, кому бы повезло больше, очень просто могли полечь все.

Вот тебе и балда!..

Действительно, было похоже на то, что десантник их спас. Освободил от себя — это уж точно. Уже за одно это следовало быть ему благодарным, иначе как бы они убежали без лошади, с раненым? Война преподала Левчуку несколько самых удивительных уроков, он много узнал на ней и считал, что больше удивить его невозможно. Но вот, выходит, все удивлялся. Наверно, ее неожиданностям не будет конца, и вряд ли хватит всей жизни, чтобы как следует разобраться в ее причудах.

Вот хотя бы и Клава.

Радистка со страдальческим выражением тронутого коричневатыми пятнами лица догнала мужчин и тяжело опустилась коленями на траву.

— Ой, не могу... Не могу я...

— Ну вот еще! — не сдержался Левчук. — Что ж тогда? Отошли всего километр...

— Ды ужо километры два, — поправил Грибоед.

— Так что ж — два! Для них это — пара минут. Видели машины?

Ему никто не возразил, все замолчали. Клава, сидя в своей прежней позе, устало опиралась руками оземь и все запаленно дышала, готовая вот-вот расплакаться, а они двое стояли над ней и не знали, что делать. Грибоед хмуро поглядывал на нее из-под своей зимней шапки, что-то озабоченное тая в своих чувствах, — может, жалость, а может, упрек за все, что с нею случилось. Левчук был на нее почти зол, ясно сознавая, что задерживаться тут не годится. Им тут не место, тут их запросто могут настигнуть немцы.

— Так. Давай поднимайся. Луг перейдем, вон соснячок, там передохнем.

Клава придержала дыхание и, сделав над собой заметное усилие, поднялась.

Они медленно, с остановками перешли луг, перебрались на другой берег обросшего осокой ручья, через который Грибоед перевел Клаву. В редком соснячке взобрались на пригорок, и Клава снова в изнеможении упала на сухую вересковую поросль. Мужчины остановились. Левчук снял с головы пропитанную потом кепку, он уже согрелся, уже с неба неплохо пригревало солнце, день обещал быть жарким и безветренным. День этот надо было пережить, что в их положении было не легче, чем пережить вечность. Особенно с такой спутницей.

— Да, дела! — проговорил Левчук и внимательно посмотрел на Грибоеда. Тот, трудно, сипато дыша, выжидательно стоял в своем узкоплечем мундирчике, оснащенном по немецкой моде множеством карманов и пуговиц. — Хоть бы где баба какая. Какой лагерь семейный, что ли. Как на грех...

— Коня надо и повозку. Без коня как?.. — рассудительно сказал Грибоед.

— Была повозка. И конь. Проворонили балбесы... Вот что! Давай, дед, иди искать деревню. Может, где есть недалеко. Без немцев чтоб.

Грибоед не стал долго тянуть, озабоченно взглянул на Клаву и неслышным шагом направился с пригорка.

— И не задерживайся, слышь? — крикнул ему вслед Левчук.

Клава затихла на траве, а Левчук огляделся. За сосняком, кажется, лежало невспаханное поле, за которым опять тянулись леса, и нигде не было видно никаких признаков близкой деревни. Стояла утренняя тишина, в сосновых ветвях беззаботно возились птицы; выстрелов или человеческих голосов не было слышно. Присматриваясь к сосняку, Левчук полукругом прошел по взлобку, послушал — вроде нигде никого. Тогда он вернулся к Клаве и, все вслушиваясь в лесные шорохи, сел подле девушки. Подумав, что, наверно, Грибоед вернется не скоро, стащил сапоги, разбросал по траве сырые портянки.

Клава лежала на боку и большими, полными тоски глазами смотрела в сосняк.

— Наделала я вам забот. Ты уж меня извини, Левчук.

— Что извинять. После войны сочтемся.

— Ох, как только дожить до ее конца? Не доживу я.

— Должна дожить. Он не дожил, а ты должна. Надо постараться.

— Разве ж я не стараюсь...

Она вдруг заплакала, тихонько и жалостно, а он сидел рядом, вытянув к солнцу красные натертые стопы, и молчал. Он не утешал ее, потому что не умел утешать, к тому же считал, что в том, что с ней случилось, Клава была виновата сама.

###### 6

Тихо всхлипывая, Клава плакала долго, и Левчук в конце концов не стерпел.

— Ничего, — сказал он, смягчаясь. — Как-нибудь. Ты потерпи.

— Ой, я уж так терплю, но... Сам знаешь.

— Главное, к какому-нибудь жилью прибиться. Да вот ни черта нет. Все вокруг посжигали.

— А если где не сожгли, так ведь немцы, — сказала Клава с наболевшей тоской. Видно, она об одном этом только и думала всю дорогу.

— Немцы, конечно, — невесело согласился Левчук.

Он старался вести себя сдержанно и с виду казаться безразличным к ней, а внутри в нем все возмущалось — такого поворота событий он не ожидал. Еще вчера он сидел на Долгой Гряде и думал только о том, отобьют очередную атаку карателей или нет, а если нет, то куда и как бежать, где спасаться. И вдруг это проклятое ранение, которое все так переиначило, навалив на него новые обязанности с Тихоновым да еще с Клавой. Что ему теперь делать, если ей вдруг приспичит? Он даже начал бояться, чтобы этого не случилось тут же, и искоса поглядывал на нее. Но Клава, полежав немного и, наверно, переведя дух, села ровнее на ватнике, по-прежнему опираясь оземь руками. Ее шитые на заказ кожаные сапожки с белыми, вытертыми о траву носками были мокрые, юбчонка тоже подмокла снизу, и Левчук сказал:

— Сними сапоги. Пусть подсохнут.

— Да ну...

— Сними, сними! — И, поняв, что ей неловко сделать это в ее состоянии, поднялся. — А ну дай!

Левой рукой он стащил с ее ног один, а затем и другой сапог. Клава после минутного замешательства почувствовала себя свободнее и подняла к нему благодарный взгляд.

— У тебя как плечо? Перевязать, может?

— Ерунда. Не надо.

Он уже притерпелся к ране в плече и все жалел, что пошел в санчасть, лучше бы остался в роте. Глядишь, пробился бы со всеми из кольца и не знал бы забот, которые теперь одолевали его.

— Ну и Тихонов! Не знаю даже, что и думать, — сказал он, присев на траве невдалеке от Клавы.

— Испугался. А может...

— Испугался, факт. Но что бы мы делали, если бы не испугался?

— А может, он ради нас? — сказала Клава.

— А кто его знает? Разве теперь поймешь? Чужая душа — потемки.

— Знаешь, хорошего человека издали видно.

— Ну да! А плохие, они, думаешь, не маскируются? Вон как тот гад? Уж такой симпатяга был...

— Ты о ком?

— Все о том же.

— Что теперь о том говорить! — недолго помолчав, сказала Клава. — После мы все умные.

— Вот именно — после. И умные и строгие. А поначалу такие добренькие. Уши развесили, а он нож в спину.

— Платонов и тогда говорил: есть подозрение. Но ведь доказательств-то не было.

— А, доказательств ждал? Ну и дождался.

Они помолчали недолго, Левчук, откинувшись на локоть, кусал травинку, обводя взглядом сосняк. И Клава, что-то преодолев в себе, заговорила негромким голосом:

— Конечно, насчет Платонова мы теперь можем судить по-разному. Осуждать его. Но каково и ему было? Я же понимаю, он говорил мне: что-то нечисто, но как узнаешь? Для того чтобы узнать, время надо.

— Надо было шлепнуть обоих, — просто решил Левчук. — А что? Раз сомнение, то и обоих. Чтоб без сомнения. Вон у Кислякова было: прибежал дядька из деревни, просится в отряд, а у самого брат в полиции. Ну что делать? Как говорится, бабка надвое гадала: может, честный, а может, и агент. Ну и шлепнули. И все хорошо. Немного первое время совесть щемила, но пощемила и перестала. Зато никаких сюрпризов.

— Нет, так нельзя, — тихо сказала Клава. — Вы все обозлились на этой войне. Оно понятно, но нехорошо это. Вот Платонов был не такой. Он был человечный. Может, потому у нас с ним так и получилось. Он другого человека чувствовал как себя самого.

— Вот-вот-вот! — подхватил Левчук и сел ровно. — Человечный! Через эту его человечность вот как тебе быть? Да и нам тоже...

— Что ж, может, и будет плохо. Но все равно он хороший. Главное — добрый. А доброта не может стать злом.

— Что ты говоришь? — язвительно удивился Левчук и вскочил на ноги. — Не может? Вот смотри. Я буду добрый и скоренько сплавлю тебя куда в деревню. В первую попавшуюся. Ты же хочешь, чтобы скорее куда определиться. Ведь правда? Чтобы тебе успокоиться. Вот я тебя и пристрою. А немцы через день и схватят. Так нет, я недобрый, я тебя мучаю вот, тащу, а ты проклинаешь меня, правда? И все-таки я, может, туда затащу, где спокойнее. Где ты родишь по-человечески. И присмотреть будет кому.

Он выпалил это одним духом, запальчиво, и она промолчала. Но Левчуку не надо было ни ее согласия, ни возражения — он был уверен в своей правоте. Он давно воевал и знал, что на войне другой правоты быть не может. Какая-то там доброта — не для войны. Может, в свое время она и не плохая штука, может, даже случается кстати, но не тогда, когда тебя в любой момент подстерегает пуля.

Клава затихла, погрузившись в свои нелегкие думы, а он босиком отошел по колючей траве на пригорок, через верхушки сбегавших вниз сосенок посмотрел на пойму. Кажется, в той стороне не было ни дорог, ни деревень, не слышно было никакого звука и не видно никакого признака присутствия немцев. Наверно, все же они неплохо забились в эту лесную глушь, если бы только им попалась какая-нибудь деревня. Им теперь крайне нужна была какая-нибудь деревенька, хутор, лесная сторожка с людьми, без помощи которых Клава не могла обойтись.

Левчук тихонько прошелся по пригорку между молодых сосенок, послушал и, осторожно ступая босыми ногами по колючей земле, вернулся к Клаве. Радистка лежала на боку, с закрытыми глазами, и он с некоторым удивлением вспомнил, как она оправдывала Платонова. Довел девчонку до невеселой жизни, погиб сам, но и мертвый все еще для нее что-то значил. Впрочем, любила, потому вся эта каторга, на которую он ее обрекал, и кажется ей сладким раем.

Он тихонько присел на траву, ближе пододвинул к себе автомат. Очень хотелось лечь, расслабить усталое тело, но он боялся невзначай заснуть и не ложился. В тиши утреннего леса он начал думать об их положении, о бедолаге Тихонове, о том, где бродит теперь Грибоед. И конечно, не мог не думать о Клаве.

Насчет Платонова она, возможно, была и права, Платонов был человек рассудительный, на редкость справедливый ко всем и не по-военному спокойный. Левчук знал его еще с довоенного времени, когда они вместе служили в Бресте — Левчук командиром отделения связи, а капитан Платонов — ПНШ полка по разведке. После окружения и разгрома дивизии Левчук перебился зиму в деревне у отца, а весной, когда их группа слилась с группой Ударцева, он встретил там и Платонова. И удивительное дело: бои, разгром, лесная, полная явных и скрытых опасностей жизнь, казалось, ничуть не повлияли на характер капитана, который по-прежнему оставался уравновешенным, бодрым, одинаковым со всеми — начальниками и подчиненными, никогда не порол горячки, всегда старался поступать обдуманно, наверняка. Он изменил себе только однажды, поступив второпях, необдуманно, и эта его необдуманность стоила ему жизни.

Началось все с двух красноармейцев, которые в конце мая появились в отряде.

Они прибежали со станции, где большая команда военнопленных перегружала с узкоколейки лес для отправки его в Германию. В отряд их привела Зойка, отрядная связная из путейской казармы, которую они упросили связать их с партизанами. И Зойка связала. В отряде к тому времени уже было немало бежавших из плена, поэтому появление еще двух беглецов ни у кого не вызвало удивления. Удивиться и даже встревожиться пришлось несколько позже, когда с новичками начали беседовать в особом отделе.

Первым вызвали туда Шевцова, высокого, исхудавшего от непосильных работ человека, до армии, по его словам, работавшего инженером в Кемерове. Он рассказал, что год искал случая вырваться из плена и найти партизан. Теперь он был счастлив, что его мечта осуществилась, и просил дать ему оружие, чтобы бить тех, кто причинил ему столько страданий и горя.

Все было просто, обычно, как и со многими другими в отряде. Шевцова без особых сомнений наскоро зачислили во вторую роту и отправили за ручей в ротный шалаш.

Беседу с его напарником пришлось отложить на вечер, потому что начальник особого отдела Зенович должен был куда-то уезжать и коновод с оседланной лошадью уже дожидался возле землянки. Вернулся Зенович поздно, когда партизаны, поужинав, располагались на отдых, и возле своей землянки нашел второго беглеца по фамилии Кудрявцев. Оказывается, около часа тот дожидался начальника, к которому у него было неотложное дело. Зенович слегка удивился, но, отдав коня коноводу, открыл дверь землянки и зажег на столе коптилку.

Кудрявцев — привлекательный на вид парень с простодушной улыбкой на чернобровом лице — сразу и подробно рассказал о себе: как в тяжелых боях потерял свой танк, как товарищи спасли его из огня, и даже показал на спине шрам от тяжелого ранения, из-за которого оказался в плену. Родом он был из Ленинграда, до армии работал на знаменитом заводе, любил Родину и ненавидел немцев, с которыми готов был драться в любой партизанской должности, хотя сам, между прочим, имел специальность радиста высшего класса. И еще он заявил по секрету, что его напарника Шевцова незадолго до их побега несколько раз вызывали к шефу СД, похоже, вербовали в агенты. Впрочем, возможно, Кудрявцев и ошибается, так как сам при беседах в СД, разумеется, не присутствовал, но, как патриот и честный человек, не может не поставить об этом в известность командование отряда. Зенович нарочно спокойно сказал, что ему обо всем известно, хотя об истории с СД он слышал впервые. Наскоро закончив с ним разговор, он тут же послал дежурного за Шевцовым.

Шевцова привели не скоро, оказывается, тот уже спал и, услышав теперь о вызовах в СД, очень удивился. Или, может, сделал вид, что удивляется. Он отрицал, что его вызывали в СД, клялся, что не брал никаких обязательств перед немцами и не является их агентом. О Кудрявцеве он ничего плохого сказать не мог — вместе работали, вместе спали в бараке, улучив момент, бежали во время переноски старых лежаков с эстакады.

Зенович доложил обо всем командиру, и, посоветовавшись, они велели обыскать Шевцова. Когда той же ночью ребята распороли отвороты его брюк, то обнаружили в них ситцевую тряпицу с какими-то цифрами, написанными водостойкой краской. Что это такое, Шевцов объяснить не мог, но все поняли, что это немецкий шифр. Такие штучки партизанам уже были известны, и Шевцова на другой день расстреляли в овраге.

А Кудрявцев этим поступком снискал всеобщую симпатию среди партизан отряда. Действительно, помог разоблачить немецкого агента и тем, можно оказать, спас отряд; нетрудно было представить, что бы случилось с отрядом, если бы в нем оставался этот Шевцов. Да и вообще новый партизан оказался удивительно симпатичным парнем, отличным стрелком, понимал толк в ремонте часов и вдобавок ко всему великолепно играл на гармошке. Гармошка, правда, была у них никудышная, с прорванными мехами и все время западавшими клавишами, голоса ее были разлажены, тем не менее Кудрявцев играл на ней так здорово, что можно было заслушаться. Улучив свободную минуту, он садился на пенек возле шалаша первой роты и начинал потихоньку наигрывать «Страдание» или «Синенький скромный платочек», возле него собирались ребята, все слушали да смотрели, как ловко бегают по клавишам его пальцы, а сам гармонист светло всем улыбается, сдержанно радуясь своей игре.

Как-то не сразу и незаметно к шалашу первой роты стала наведываться Клава.

Приходила она одна и с какою-то застенчивой робостью останавливалась возле березок, поодаль от горластой группки ребят, которые сразу же начинали зазывать ее подойти ближе. Кудрявцев по обыкновению живо отзывался на ее появление у березок и дальше играл, улыбаясь уже только одной ей. Клава, замечая это к себе внимание, немного терялась, но стояла, слушала, легко и приветливо отбиваясь от приставаний чрезмерно развязных ребят. Впрочем, к ней особенно не приставали, в отряде уже было кое-что известно о ее отношениях с начштаба Платоновым. Левчук в то время обычно находился там же или поблизости за каким-либо пустяковым занятием, но он всегда замечал ее появление возле гармониста, и ни один ее шаг, взгляд, улыбка не ускользали от его внимания. Он сразу заметил симпатию к ней Кудрявцева, и это его насторожило.

Левчук сам точно не знал, любил ли он Клаву, может, она просто немного нравилась ему, но он ничем не показывал этого, потому что не хотел переходить дорогу Платонову. Еще в первый день, когда он привез ее из Кировской, с первого взгляда между их новой радисткой и их начальником штаба он понял, что так у них не обойдется: очень уж они были подходящими друг для друга. И он отступился от нее, но только ради одного Платонова и более отступаться не хотел ни для кого на свете. Даже если бы тот был, как ангел, красивый и играл на органе, а не на этой разбитой гармошке. И Левчук тихо, но упрямо, со всей ревностной молодой силой возненавидел их новоявленного партизана, всеобщего любимца Кудрявцева. Однажды он даже решился о нем поговорить с Платоновым и остановил начштаба, встретив его на тропке, но того позвали в штабную землянку, и Левчук, минуту выждав, пошел по своему делу. Потом он очень жалел, что их разговор сорвался. Кто знает, может, он предотвратил бы большую беду, которая вскоре разразилась в отряде.

Как-то у Клавы начались нелады с рацией, однажды она пропустила сеанс утренней связи, так как не могла настроить свой «Северок». Лещева в то время в отряде уже не было — откомандировали в группу Теслюка, и тогда в штабе вспомнили о Кудрявцеве. Он охотно взялся помочь, что-то там подвинтил, подладил, и рация действительно заработала. Правда, тут же оказалось, что долго она не продержится, что надо заменить какую-то зубчатку. Но где было взять в лесу эту зубчатку? И Кудрявцев, подумав, сказал, что попробует ее раздобыть на станции у знакомого человека, который может довериться ему и никому больше. Платонов подумал, посовещался с Клавой, и они решили рискнуть, послать Кудрявцева, только не одного, а с группой, и командиром группы был назначен Левчук. Левчук уже много раз ходил на ту станцию, имел там кое-каких знакомых и не придал этому заданию большого значения. Он бывал на заданиях куда более трудных, и все обходилось, считал, что обойдется и на этот раз.

На станцию Левчук должен был отправиться в воскресенье, а в субботу, возвращаясь из Клесцов во главе трех разведчиков, забрел по дороге на хутор к знакомому хозяину, который хлебосольно их угостил. И когда, прибыв в отряд, Левчук доложил командиру о выполнении задания, тот сразу же распорядился отправить его в яму возле караульной землянки, где у них помещалась гауптвахта. Левчук вскипел, наговорил командиру грубостей, после чего был вынужден сдать автомат и под конвоем командирского ординарца отправиться к яме. Там он в сердцах швырнул в нее свою телогрейку, спрыгнул сам и сразу же улегся спать, подумав, что утром его отпустят.

Но его не отпустили ни утром, ни вечером, он просидел в яме до понедельника, пока в отряде не разнесся слух, что на станции, попав в засаду, погиб их начштаба Платонов.

Услышав об этом, Левчук не мог больше выдержать, не обращая внимания на окрики часового, выскочил из ямы и бросился к штабной землянке, возле которой уже билась на траве Клава и бушевал командир отряда. Другие командиры ходили с поникшими головами и тяжело вздыхали.

Как и предчувствовал Левчук, в неожиданной гибели начштаба была и его большая вина. Из-за его ареста командовать группой взялся Платонов, который вечером в воскресенье вместе с Кудрявцевым и тремя партизанами отправился на станцию. Двое из этих партизан сидели теперь перед командиром и рассказывали, как все случилось.

Их предал Кудрявцев.

Сначала все шло хорошо и не наводило ни на какие подозрения, в вечерних сумерках они подобрались к станционным огородам и укрылись в густой, разросшейся за лето конопле. Выждав, когда стемнеет совсем, Кудрявцев узеньким переулочком отправился к знакомому дядьке, остальные начали ждать. Ждать пришлось долго, думали, с Кудрявцевым случилось что-нибудь непредвиденное. Потеряв терпение, Платонов вылез в темноте из конопли, чтобы взглянуть, что делается поблизости. Но не успел капитан подлезть под изгородь, как послышался его сдавленный крик, поодаль грянули выстрелы. Ребята бросились из конопли на другую сторону огорода, но и там наткнулись на полицейских, ударивших по меже из автомата. Поняв, что попали в засаду, все бросились врассыпную и уже на бегу услыхали голос Кудрявцева, кричавшего полицаям: «Того, того держите, в кубанке!»

В кубанке у них был Платонов.

Потом стало известно, что начальника штаба с простреленной грудью привезли на допрос в полицию, где он, не приходя в сознание, скоро скончался. Кудрявцев после той акции куда-то пропал со станции. Наверно, хозяева перебросили его в другое место, где тоже ценили хорошую игру на гармошке.

Клава безутешно убивалась, скрипел зубами Левчук. Спустя несколько дней его перевели из взвода разведки в третью роту рядовым пулеметчиком.

###### 7

Грибоед пришел часа через три, не раньше.

Левчук уже передвинулся в тень, стало жарко, портянки на солнце сделались жесткими, как из жести, сапоги тоже подсохли, и он едва натянул их на ноги. Клаву почему-то стал сотрясать озноб, она то и дело вздрагивала, и Левчук прикрыл ее телогрейкой, уговаривая успокоиться, заснуть. Он думал, что во сне не должно начаться то. Его самого неудержимо клонило в сон. Но спать он себе не позволил. Чтобы разогнать сонливость, решил чем-либо заняться: отомкнул диск от автомата, снял крышку. Диск был неполон, Левчук сосчитал патроны, их оказалось всего сорок три — на четыре хорошие очереди. И он снова собрал магазин, приладил оборванный ремень и стал нетерпеливо выглядывать Грибоеда. Он ждал его с той стороны, в которую тот ушел, но ездовой появился из сосновых зарослей сзади и первым делом принялся отряхивать от хвои свою косматую шапку.

— Ну что? — не стерпел Левчук, ничего определенного не увидев на лице ездового.

Подойдя ближе, тот молча положил на траву винтовку, устало опустился сам и снял с головы шапку, обнажив потный, лишенный загара, морщинистый лоб. Последний раз брился он, видно, на прошлой неделе, и все его лицо было покрыто густой беспорядочной порослью.

— Ды як сказать? Деревня там есть одна. Но спаленная.

— Что радости — спаленная! — разочарованно бросил Левчук. — Нам с людьми надо.

— Спаленная, ага, — не обращая внимания на его недовольство, продолжал Грибоед. — Гуменцо и уцелело только. С краю. Думал, пустое, гляжу, баба ходить там, возле жита.

— Баба?

— Баба, ага.

— Говорил с ней?

— Да я не говорил. Я увидал и назад. Спешил же.

— Ага, ну хорошо! — подхватился Левчук. — Тогда давай, Клава. Вставай! Это далеко?

— Ды не очень. Вунь за соснячком ров, ручей гэты. Затем растряроб... Жито там, — начал припоминать Грибоед.

— Ну сколько? Километр, два, три?

— Может, два, ага. Или три.

— Пошли!

Клава с усилием поднялась, пошатнулась, едва устояв на ногах. Потом с трудом встал Грибоед. Выглядел он уставшим, наверно, ему тоже надо бы сперва отдохнуть, но Левчук спешил дойти до людей, чтобы избавиться от затянувшейся лесной неопределенности. Все-таки в нем жила и с каждым часом усиливалась тревога за Клаву.

Они не спеша, чтобы не оставить сзади радистку, сошли с соснового пригорка, обошли овраг, за которым вскоре набрели на лесную дорожку. Прежде чем пойти по ней, Левчук посмотрел направо, налево, пригляделся к следам. Но следы тут были все старые — замытые дождем колеи, несвежие отпечатки копыт и колес, похоже, тут давно уже не ездили. Тем не менее Левчук сдвинул на плече автомат, чтобы тот был под рукой, стволом вперед, и пошел, вглядываясь в каждый поворот дороги.

— Ды никого тут нет, чего глядеть, — заметив настороженность Левчука, сказал Грибоед. — Я же шел...

— Гляди, какой смелый: шел! — огрызнулся Левчук. — А если немцы?

— А черт с ними. Видно, такая судьба. Куда денешься...

— Ну знаешь... Это ты так можешь о себе думать. А нам еще жить хочется. Правда, Клава?

Ковыляя сзади, Клава не отозвалась. Видно, ей было не до шуток. Кусая засохшие губы, радистка уже едва терпела эту дорогу. Левчук озабоченно сдвинул брови — хотя бы скорее дойти до этого разведанного Грибоедом гумна, а то еще приспичит в лесу, что тогда с ней делать? Слова Грибоеда относительно своей судьбы не понравились Левчуку, который вообще был против всякой покорности, тем более в войну. Хотя и нетрудно было понять этого ездового, которого не очень баловала жизнь и совсем доконала война.

— А я, знаешь, так и жить не очень хочу. Можно сказать, и совсем не хочу, — загребая босыми ногами слежалый песок, говорил Грибоед. — Зачем мне та жизнь, если моих никого не осталось? Ни бабы, ни дитенков. Война кончится, что я? Кому буду нужный?

— Чудак ты! — сказал Левчук. — Война кончится, в почете будешь. Ты же вон какой заслуженный! С первой весны в партизанах?

— С первой, ага.

— Орден заработаешь, человеком станешь. Хотя, конечно, для ордена надо не обозником быть.

— Э, зачем мне орден! Мне бы Володьку моего. Всех бы отдал — и дочек и бабу. Лишь бы вернуть Володьку одного...

— Володьку что, тогда убило? — заинтересованно спросил Левчук.

— Ну. Считай, на моих руках. Разрывная в бок. И кишочки вылезли. Такие тоненькие, как у птички. Собирал, собирал, да что... Разрывная!

— Да, это плохо, — посочувствовал Левчук. — Хуже некуда.

Плохого в эту войну хватало, но судьба Грибоеда была особенно скверной. Трудно сказать, то ли для этого были какие причины, то ли все решала слепая власть случая, но пережил он столько, что не пожелаешь врагу. Частично через свою доброту, как считал Левчук, который уже был наслышан в отряде о несчастьях этого человека.

Грибоед с семьей жил на Выселках — так называлась деревня, стоявшая в стороне от больших дорог возле пущи. Усадьба его была и еще дальше — на отшибе от деревни, почти на опушке леса. Фронт в то первое военное лето прокатился по здешним местам никем не замеченный — крестьяне не видели ни отступления наших, ни прихода гитлеровцев. Люди долго еще занимались тем, чем занимались сотни лет до войны, и в тот день копали картошку. Копал ее и Калистрат Грибоед с женой, престарелой матерью, им помогали дети — старшие Галя и Володька; Шура и самая меньшая Манечка грелись возле костерка на меже — пекли картошку. Грибоед спешил, оставалось копать немного, как вдруг, распрямившись, увидел на краю ольшаника человека, который молча махал рукой — звал его подойти.

Грибоед бросил в корзину картофелину и оглянулся. Жена, сосредоточенно перебирая руками землю, ничего не замечала вокруг, и он, широко перешагивая через борозды, пошел к опушке.

Спрятавшись за молодой сосенкой, незнакомец ждал. Это был обросший бородкой, еще не старый человек в военном бушлате с немецким автоматом в руке. Он расспросил Грибоеда о немцах, полиции и попросил помочь — невдалеке за болотцем остались его товарищи, двое из них ранены и сами идти не могут. Кроме того, им надо где-то укрыться на время. Грибоед все понял и, ничего не сказав, вернулся на поле, запряг кобылку и поехал по дорожке в ольшаник. Тут к нему подсел тот военный с немецким автоматом в руках.

Они отъехали недалеко, военный показал место в еловой чаще возле дороги, где ждали его товарищи. Их было трое — двое тяжело раненных, которые сами идти не могли, и молоденький курносый боец с нежным пушком на щеках, по имени Веня. Они перенесли раненых в повозку и, когда стемнело, приехали к Грибоеду на усадьбу.

Три недели раненые — полковник-танкист и политрук — лежали в избе, бабы, как могли, ухаживали за ними, однажды Грибоед привозил из местечка знакомого фельдшера, хорошо заплатил ему, и фельдшер оставил какое-то лекарство, которым сказал присыпать раны. Лекарство оказалось хорошее, раны неплохо заживали, хотя и не так скоро, как хотелось бы раненым. Их здоровые товарищи — Терехов с Веней — часто отлучались с усадьбы и по нескольку дней не ночевали дома. Они ничего не рассказывали хозяину, но он знал — искали партизан.

Все обходилось более-менее благополучно, постепенно полковник начал подниматься с кровати и прохаживаться по избе, политрук пока еще только начинал садиться в постели, как на Выселки заявилась полиция.

Правда, Грибоед заметил опасность вовремя, раненых наспех забросали тряпьем в запечье, и когда два полицая зашли в избу, посторонних в ней не было видно. Чтобы задобрить полицаев, Грибоед сунул им бутылку самогона, жена достала из кубла кусок сала, и довольные бобики смылись похмеляться. Однако, похмелившись, они продолжали облаву и, отъезжая в местечко, увезли с собой трех незнакомых, обнаруженных в Выселках, их хозяев забрали тоже. Вечером, когда вернулись домой Терехов с Веней, они все недолго совещались и решили в ближайшее время переселиться в лес.

За ольшаником по соседству с усадьбой вырыли землянку, тщательно укрыли ее мхом и лапником и так замаскировали, что в десяти шагах невозможно было угадать, где тут землянка. Внутри поставили склепанную из жести печурку, хорошо натопили ее и в ночь под Октябрьские праздники переправили туда раненых. Правда, долгое время просидеть там безвылазно было невозможно, надо было заботиться о пище, одежде, и по ночам военные наведывались к Грибоеду, да и он нередко заходил в землянку. Пока не нападал снег, все обходилось благополучно, но после первых же снегопадов начали оставаться следы, и чем дальше, тем больше. Образовалась даже небольшая тропинка от усадьбы в ольшаник. Как Грибоед ни маскировал ее от чужого глаза, все-таки недобрые люди что-то заметили и донесли немцам.

Его спас случай, или, может, судьба, как считал Грибоед. Другим повезло меньше.

Незадолго до Нового года кончились дрова, которых теперь требовалось вдвое больше, потому что в землянке топили подолгу и часто — все равно было холодно, особенно раненым. Но хороших дров поблизости уже не осталось, крестьяне ездили за десять километров в пущу. Как-то утречком, на рассвете Грибоед разбудил Володьку, запряг в сани кобылку, и они поехали к знакомой делянке, где несколько лет лежали заготовленные, да так и не вывезенные в Донбасс штабеля рудстойки. Делянка была неблизко, но Грибоед имел намерение к ночи управиться и одним заездом подбросить дров и в землянку. Тем более что с утра посыпал мелкий снежок, значит, следа не будет, что и требовалось для безопасности.

Однако произошло непредвиденное. Когда они с нагруженными санями переезжали Кривой ручей, сломались два копыла в санях, бревна осели концами в снег, кобылка, как ни старалась, не смогла выбраться на ровное. Пришлось разгружать сани и вытаскивать дрова из овражка за три раза, потому они припозднились и только около полуночи подъезжали к Выселкам. Грибоед шел рядом с кобылкой, Володька, притомившись, сидел на дровах; недоспав утром, мальчишка начинал клевать носом, и отец все оглядывался, чтобы тот сонный не свалился под полоз.

Им оставалось, может, километра два до землянки, как в ночной тишине посыпались выстрелы.

Выстрелов было немного — несколько раз бахнули винтовки, протрещал и смолк автомат. Вроде бы донесся и крик, или, может, им так показалось, и все снова затихло. Встревоженный недобрым предчувствием, Грибоед свернул с дороги под ельник и, передав вожжи Володьке, пустился через лес к землянке.

Еще не добежав до нее, он понял, что случилась беда. Дверь в землянке была сорвана с самодельных петель, на снегу валялись соломенные матрацы, скамейка, кое-какое тряпье из землянки, снег вокруг был истоптан чужими ногами. Наверно, тут же произошла и перестрелка, несколько гильз, подобранных Грибоедом, свеже воняли порохом.

Грибоед бросился по снегу, через ручей к своей недалекой усадьбе и вскоре услышал, как там распоряжались полицаи. Раздавался зычный командирский голос, слышался женский плач, там громили его усадьбу, как потом оказалось, забирали семью и погружали на сани имущество.

Грибоед простоял под кустами до того времени, пока не увидел, как трое саней отправились на большак в местечко. Тогда он подался было к ограбленной своей хате, но, увидев ее распахнутую настежь дверь, затаился за вербой. Он уже понимал, что все пропало, что уцелели только он да Володька. Бобики могли также оставить засаду, и Грибоед, постояв за вербой, потащился назад, в кустарник.

Он вернулся к напуганному Володьке, сказал, что теперь они остались вдвоем, сбросил с саней дрова и направил кобылку в самую глушь пущи. Там они построили под елкой шалаш, в котором продрожали от стужи два дня и две ночи, доели последний кусок хлеба, прихваченный с собой в лес. Начали голодать. Спустя еще два дня голод и тревога о семье снова погнали Грибоеда в Выселки. На этот раз там засады не было, Грибоед походил по выстуженной, непривычно молчаливой хате, подобрал кое-что из одежды, ведро картошки набрал в погребе — больше тут ничего не осталось, все забрала полиция. Эти жалкие остатки его имущества, а также картошка и спасали их первое время в пуще, не давая замерзнуть или помереть с голода. Неделю спустя они построили крохотную земляночку в чаще, смастерили печку, которая хотя и страшно дымила, но немного и грела.

Так отец с сыном решили дожить до весны и, возможно, дожили бы, если бы не их молодая жеребая кобылка, которой тоже хотелось есть. Сена же в пуще зимой нигде не было, оно было в пуне в Выселках, и Грибоед, жалея скотину, раза два съездил на усадьбу. Все обошлось хорошо, его никто не встретил, а выследить было нельзя: время Грибоед выбирал под метель, чтобы не оставалось следов.

Однажды поехать за сеном напросился и Володька. Мальчишка за время их лесной жизни заметно соскучился без людей, замкнулся в молчаливом одиночестве, перестал смеяться, видно, тосковал по сестренкам и матери. Сначала Грибоед не обращал на это большого внимания, но потом начал даже бояться, кабы с мальчишкой не случилось плохое — уж очень не по возрасту свалилась на него эта беда. И когда сын начал проситься в их нелегкий ночной путь, скрепя сердце Грибоед согласился.

Все-таки он не хотел его брать, что-то щемило в нем скверным предчувствием, но он не совладал с жалостью к последнему своему ребенку и не прогнал его в землянку, когда тот начал устраиваться в передке саней.

Ночь была ветреная и непогожая, сильно шумели елки в лесу, по снегу гуляла метель, кобылка почти всю дорогу шла шагом, отворачивая голову от ветра. К полуночи они переехали пущу, свернули на едва заметную дорогу к Выселкам. Уже близко была усадьба, уже Грибоед нетерпеливо вглядывался сквозь ветреный мрак, стараясь что-нибудь различить в нем. С надеждой думалось человеку: а вдруг блеснет знакомый огонек в окне и он найдет там своих дочерей и жену, которых, возможно, выпустили из полиции, потому что за что же их там держать? В чем они виноваты перед немецкой властью?

Но не суждено было Грибоеду увидеть никого из своих, не знал он, что его жену давно замучили на допросах в полиции, а детей куда-то увезли, что старая мать его, не стерпев мук, тихо скончалась в полицейском подвале, а в его дворе уже третий день подряд сидят в засаде трое полицейских.

Между тем Калистрат Грибоед погонял кобылку, и они все ближе подъезжали к своей беде. Уже стала заметна в сумраке кривая верба возле ворот, колодезь с журавлем, разломанный чужими лошадями тын у сарая. И тогда кобылка его почему-то остановилась, вскинула голову и тихонько тревожно всхрапнула. Он уже знал ее чисто собачий, нелошадиный, обычай и потянул вожжи. Изо всех сил он всматривался в темный двор, но ничего там заметить не мог. И все-таки он почувствовал: что-то там есть. Володька тоже не на шутку встревожился и тихо приговаривал в санях: «Тата, не езжай! Не езжай, тата!»

И он начал торопливо разворачивать кобылку.

Но не успела кобылка выбраться из придорожного снега и вывернуть на дорогу оглобли, как со двора раздался злой окрик: «Стой!» Грибоед с размаху ударил кобылку кнутом, одновременно грохнул винтовочный выстрел. Володька сразу же ткнулся в сани, что-то проговорив чужим, изменившимся голосом, а он, не обращая на него внимания, поднялся в санях на колени и что было силы погнал кобылку. Будто чуя людскую беду, та с места рванула галопом, они мигом проскочили открытый участок дороги и под частые выстрелы сзади въехали в лес. Только заехав поглубже в чащу, Грибоед остановил сани и схватил за плечи Володьку.

Володька лежал на боку, обеими руками запахнув на животе полы армячка. Отец разорвал его судорожно сведенные руки, распахнул армячок и ужаснулся. Из кровавой раны, будто живые, полезли, странно пузырясь под руками, тоненькие Володькины кишки. Тихонько скуля, мальчик испуганно подбирал их под окровавленную сорочку и плакал от боли и беды, справиться с которой не было уже возможности.

Он привез его в землянку еще живого. Володька что-то говорил слабым голосом, звал мать, потом стих и до утра лежал молча, лишь слабо подергивая ногой или рукой.

На рассвете он вовсе затих...

###### 8

Узенькой лесной дорожкой они перешли мысок соснового бора, миновали старую, заросшую мелким сосняком вырубку и свернули влево. Четверть часа спустя Грибоед вывел их к краю холмистого ржаного поля. На нескольких разделенных низкими, небрежно обпаханными межами полосках дозревала реденькая рожь, между чахлых стеблей которой синели дремучие заросли васильков, белели головки ромашек. Грибоед выбрал межу пошире и свернул на нее; они пошли следом.

— Во и веска, — сказал ездовой.

Левчук ожидал увидеть какие-нибудь строения или хотя бы соломенные крыши с трубами — обычные признаки близкой деревни, но он не увидел ничего этого. Недавнее ее тут присутствие угадывалось разве что по нескольким высоким деревьям, видневшимся поодаль за рожью. Деревни не было. Подойдя ближе, они увидели за обросшими сорняком изгородями обкуренные остатки печей, местами обугленные, недогоревшие углы сараев, раскатанные бревна в заросших травой дворах. От многих строений остались лишь камни фундаментов. Близкие к пожарищам деревья стояли засохнув, с голыми, без листьев, сучьями. Высокая липа над колодцем зеленела одной стороной — другая, обожженная, странно тянула к небу черные ветви. На затоптанных, без грядок, огородах валялись разбитые кадки, разная домашняя утварь, палки, иссохшие серые тряпки. Наверно, деревню сожгли по весне, еще до вспашки огородов, озимые в поле росли уже ничейными, а яровых нигде не было видно. Поле возле огородов лежало заброшенным, густо зарастая лебедой и осотом.

— Куда это ты нас привел? — остановился Левчук. — Где же тут люди?

— Чекай, чекай! Ходи сюды.

Грибоед расторопно припустил куда-то краем деревни, они перешли неглубокий овражек возле кустарника, выбравшись из которого сразу увидели маленькое, в две постройки, гумно на пригорке возле ольшаника.

— Ну во! Бачыли? Там она собирала что-то. Зелки какие или что.

— Так, тихо. Побудьте тут, — отстранил ездового Левчук и сам скорым шагом пошел к гумну.

Из ольшаника выбегала, наверно, грязная по весне, а теперь сильно усохшая корявая дорожка, которая, немного не достигнув гумна, сворачивала в сторону бывшей деревни. Свежих следов на ней не было, но эта дорожка не понравилась Левчуку, и он, прежде чем перейти ее, осмотрелся. Из двух построек гумна ближе к дороге стояла поветь с остатками прошлогодней соломы в одном конце. Дальше был старый, покосившийся ток с продранной крышей, в дырах которой, будто ребра, торчали латы и стропила. Левчук поодаль обошел кучу камней на углу, заросли густого малинника у стены и оказался с той стороны, где находилась дверь. Дверь была прикрыта, и поблизости никого не было. На верху яблони-дичка, росшей на краю ржи, тихо раскачивался большой старый ворон, который, повернув голову, настороженно посмотрел на него. Левчук взмахнул рукой, но ворон даже не моргнул глазом, и только когда Левчук двинул с плеча автомат, тот лениво взмахнул крыльями и нехотя полетел в сторону деревни.

Нигде никого не увидев, Левчук тихонько приоткрыл одну половинку двери. В току стоял сумрак, пахло гнилой соломой и пылью; над головой с тихим писком прошмыгнули две ласточки, наверно, тут были их гнезда. Левчук шире распахнул дверь и переступил порог.

Нет, похоже, Грибоед не ошибся, когда говорил про женщину, — действительно, в этом току кто-то жил.

Под стенкой на охапке слежалой соломы была расстелена старенькая дерюжка, валялись какие-то лохмотья, тут же стояла кадушка для воды, висел кожушок на стенке. На чисто подметенном земляном полу у двери ровно стояли кожаные бахилы с обрезанными голенищами. Темные стены светились многочисленными щелями между бревен. Слева от входа была еще одна низенькая дверь, наверно в овин, там же, косо прислоненная к стене, стояла сколоченная из палок лестница.

Левчук подождал, послушал и тихонько окликнул:

— Эй! Есть кто живой?

Никто не отозвался, наверно, в току никого не было. Но рано или поздно должен же кто-то сюда прийти, если живет тут, подумал Левчук и вышел наружу. Грибоед с Клавой напряженно смотрели на него из кустов.

— Давай сюда! — махнул он здоровой рукой.

Когда те подошли, он широко распахнул дверь — заходите! — и Клава подбитым шагом, хватаясь за дверь, первой вошла в ток. Окинув пугливым взглядом это мрачное людское пристанище, она увидела на полу дерюжку и сразу обессиленно опустилась на нее.

— Ну вот! Отсюда уже никуда не пойдем, — сказал Левчук. — Но где же хозяйка?

Грибоед, не заходя в ток, обошел его обросшие малинником и крапивой углы, постоял, послушал. Но нет, поблизости никого не было. Было тихо. Лишь под свежими порывами утреннего ветра шумела недалекая яблоня да с тихим шорохом качалась на ниве рожь.

А Левчук тем временем, осмотрев углы этой постройки, стал на поперечину лестницы, заглянул на чердак овина. Он думал, что, может, здешние жители где-то попрятались. Но и на овине никого не было: земляная присыпка, не тронутая человеческой ногой труха да помет ласточек. Из серого гнездышка под стропилом выглядывали любопытные головки птенцов, слышался встревоженный писк. Левчук спустился на землю и распахнул низкую дверь. В тесном прокопченном закутке овина был сумрак. Маленькое, затянутое паутиной окошко бросало немного света на черную печку-каменку, от которой шел затхлый, удушливо-дымный смрад.

— Ладно, что ж, подождем. Ты как, немного еще потерпишь? — обратился он к Клаве, но та не ответила. — Теперь бы поесть чего...

Поесть было бы кстати, но у них не было даже куска хлеба, и о пропитании предстояло еще позаботиться. Левчук вышел во двор, осмотрел ток снаружи, повглядывался в недалекий ольшаник. Но, видимо, хозяева ушли куда-то далеко. И Левчук тихонько побрел краем ржи, перешел дорогу, постоял, чтобы увериться, что вокруг все спокойно, заглянул за крайние кусты ольшаника.

Там простиралась широкая лесная прогалина или край поля, дальше темнел ельник, и внимание Левчука привлекла полоска картофеля возле ячменя. Картошка была с рослой ботвой, на крайних бороздах лежали сухие стебли — значит, ее уже и подкапывали. Подумав, что, накопав, ее можно сварить, он скорым шагом направился назад — поискать какое-нибудь ведро или корзину.

— Эй, дед! Давай посудину, бульба есть! — крикнул он в распахнутые двери тока.

Однако Грибоед, не ответив, продолжал тихо сидеть на корточках возле прикрытой дерюжкой Клавы, которая недобро изгибалась на соломе, и у Левчука все опустилось внутри от мысли — неужели начинается? Он тихо переступил порог, но Грибоед, услышав его, замахал рукой, и он молча вышел назад. Бедная Клава, подумал Левчук, кажется, все же пришло ее время, и нет никакой нигде бабы, он же в таком деле помочь ей не мог. Разве что Грибоед?

Левчук постоял возле дверей в ожидании, не скажет ли еще что Грибоед, но тот молчал. Тогда Левчук вспомнил, что в таких случаях вроде бы полагается греть воду, значит, надо разжечь костер. Он бросился искать топливо и под поветью нашел несколько сухих палок, которые разломал ногой, и тут же на дворе, неловко управляясь левой рукой, разжег костерок. Хуже было с посудиной для воды. Но, поискав, он обнаружил в малиннике заброшенный дырявый казанок, щепкой заткнул дыру в его дне и сбегал к ручью за водой. Все время он прислушивался к звукам из тока и, хотя почти ничего не слышал, сам не заходил туда. Он начал хозяйничать возле огня, который неплохо разгорался на ветру, и вода в казанке стала понемногу греться.

— Вот и добра, — сказал Грибоед, выскочив из тока. — Догадливый!

— Ну как там? — спросил Левчук.

— Ничего. Все добра.

— А ты того... Что-нибудь понимаешь?

— Ды ужо ж, што-небудь, — уклончиво ответил Грибоед, схватил какую-то тряпку, что сушилась на прислоненной под стеной бороне, и снова исчез в току.

Тем лучше, подумал Левчук, с помощью Грибоеда, может, еще как-нибудь и обойдется. Хуже, если бы с Клавой остался один он, чем бы он ей помог? Теперь он не знал, что там делалось, но его внимание к току усилилось, и он начал тревожиться: а вдруг что будет не так?

Но, по-видимому, все шло как и следует в таких случаях. Вскоре Грибоед выбежал из тока и замусоленной полон своего мундира суетливо выхватил из огня казанок.

— Что, уже?

— Уже, уже...

Левчук несколько удивился: он ждал, не послышится ли сперва детский плач или хотя бы стон матери, а тут ни плача, ни стона, и этот старый повитуха говорит, что все.

— Зараз, зараз, — несколько громче, наверное для него, сказал Грибоед из тока. — Зараз!

Левчук стоял за дверью и волновался, словно отец, волноваться которому уже не придется. Эта обязанность перепала им, его товарищам по войне, и теперь многое в отношениях Левчука к Клаве определялось его отношением к Платонову. Во всяком случае, Левчук чувствовал себя обязанным не столько ради самой Клавы, сколько ради их погибшего начальника штаба.

— Так кто там? — нетерпеливо спросил Левчук. — Парень или девка?

— Мужик! — каким-то незнакомым, подобревшим голосом сказал Грибоед. — Харошы дятюк. Иди сюды...

С неожиданным, просто невероятным для него любопытством Левчук шагнул в ток и взглянул на небольшой сверток из парашютного шелка в руках Грибоеда. Рядом в полумраке чужой соломенной постели почти со страхом в измученных глазах смотрела на них Клава.

— Во, погляди! Аккурат Платонов. Ага?

Маленькое сморщенное личико, плотно закрытые глазки — видать, что живое существо, и ничего больше. Но, чтобы подбодрить мать и сделать приятное ее повитухе, Левчук согласился:

— Конечно, конечно...

— Во нас опять трое мужиков, — обычным озабоченным голосом сказал Грибоед. — Чым тольки кормиться будем?

Левчук спохватился. Он, который все это время чувствовал тут себя почти лишним, понял свою новую обязанность, схватил казанок и выскочил из тока. Продравшись сквозь чащу ольшаника на картофельное поле, он левой рукой начал торопливо выдирать ботву, за которой тянулись из земли небольшие, по голубиному яйцу, картофелины. Его теперь полнило какое-то новое, еще не испытанное им или, может, забытое чувство причастности к извечной человеческой жизни, в которой не было места войне, и его отношения к Клаве явственно менялись с небрежно-придирчивых на уважительные, почти родственные. Теперь она была для него уже не та кокетливая Клавка, которую он некогда привез в отряд, и не партизанская девка, нагулявшая ребенка с их хотя бы и пользующимся уважением начальником, а прежде всего молодая женщина-мать, присмотреть которую было их человеческим долгом. Кроме того, он слишком хорошо знал, каково ей будет в этом ее неожиданном лесном материнстве, и стремился хотя бы вначале облегчить все то нелегкое, что уготовила ей их партизанская судьба. Как ни удивительно, но именно сейчас, через Клавку, он впервые за много лет почувствовал себя не бойцом-партизаном, не разведчиком или пулеметчиком, а прежде всего человеком, и это было для него ново и чрезвычайно приятно. Так, будто не было уже и войны.

Закинув за спину автомат, он занялся картошкой — перемыл ее в холодном ручье, наполнил казанок водой, снова раздул огонь и приладил на него казанок.

— У меня соли есть трохи, — сказал Грибоед, выйдя из тока и увидев на костре картошку.

— Да ну! Может, у тебя и хлеб есть? — отозвался Левчук.

— Не, хлеба нема. А посолить трохи буде.

Ездовой опустился возле костра на колени, из нагрудного кармана мундира достал красную тряпицу, развернул ее, затем развернул бумажку и двумя пальцами взял щепоть соли.

— Больше бери! Что эта твоя щепоть! — сказал Левчук.

Грибоед взял чуть больше, но, подумав, отсыпал и тремя пальцами бросил соль в казанок.

— Берагчи треба. Где ее возьмешь после...

— Ну как там Клавка? — спросил Левчук.

— Заснула. Хай поспить, ей теперь треба.

— А малый?

— И малый спить. Сиську пососал и спить. А что ему...

— Ну хорошо. Сядь, посиди тут.

— Не, я ужо в засень. А то горячо. Боюсь, голову напяче.

Действительно, солнце поднималось все выше, в гумне стало жарко, и не верилось даже, что еще недавно они страдали от стужи. Но что жара или стужа — главное, они ушли от немцев, зашились в лесную глушь, где не было никого — ни партизан, ни крестьян, ни немцев, в казанке доваривалась свежая бульбочка, обещая голодным какое ни есть насыщение. Все-таки самая большая беда их миновала, и если бы не смерть Тихонова, то Левчук, наверное, был бы доволен сегодняшней своей судьбой.

Правда, его немного тревожило отсутствие хозяев этого немудрящего жилища, все-таки им были нужны хозяин или еще лучше хозяйка, которые бы взяли на себя дальнейшую заботу о Клаве. К тому же Левчуку было необходимо кое о чем расспросить их, а может, и разжиться повозкой, если уж они не сумели сберечь свою. Но это была забота вообще, можно сказать, на потом, главная же забота с Клавой вроде бы уладилась благополучно, авось уладятся как-нибудь и остальные.

Картошка кипела, и, чтобы не прозевать, когда она сварится, Левчук все ширял в казанок протиркой, вынутой им из приклада ППШ. Протирка, однако, лезла с трудом, надо было еще варить, и он подкладывал в огонь все, что находил поблизости, — обломки струхлевших палок, доску, разломал тонкую жердь с изгороди. Грибоед с утомленным видом сидел на бороне под стеной и озабоченно глядел в огонь.

— Ну, что невеселый, дед? — взглянул на него Левчук. — Все же хорошо.

— Хорошо, да не все, — вздохнул Грибоед.

— Ну а что? Тихонов?

— Да хоть бы и Тихонов. Молодой еще. Хиба жить не хотел?

— Жить всем хочется. Да не всем выходит.

— Во пра то и думаю. А тут малое...

Малое, конечно, не вовремя, даже очень не вовремя, подумал Левчук. Если бы хотя на какую неделю раньше, когда не было этой блокады, а теперь действительно, каково ей будет с малым среди чужих людей, которых еще неизвестно где отыскать в этом гибельном, разоренном краю.

— Видно, надо еще где искать, — сказал Левчук. — А то черт его знает, дождешься ли тут кого.

Грибоед сидел молча, сосредоточенно глядел в костер, и Левчук, у которого от голода подвело живот, махнул здоровой рукой:

— Ладно. Сначала поедим бульбочки, а там видать будет...

###### 9

Левчук просидел во дворе часа два, если не больше. Солнце спустилось за крышу соседнего дома, и двор утонул в широкой, растянувшейся тени. К Левчуку никто не подходил, не тревожил его на этой доске-лавке, двор жил своей обычной для него жизнью — дети развлекались соответственно своему возрасту, взрослые занимались хозяйственными делами выходного дня — поодаль от подъезда стряхивали половики, подметали дорожки; молодой мужчина возле забора выколачивал пестрый тяжелый ковер, и мощные удары его выбивалки отдавались гулким далеким эхом. Бабки посидели еще немного без солнца и потащились в свои квартиры, а мужчины возле недалекого гаража все еще ковырялись в чреве разобранного ими «Москвича». Там же вертелось несколько любопытных мальчишек.

Левчук хорошо изучил этот двор, все его углы и дорожки. В общем, тут ему нравилось — чисто, досмотрено, только чересчур много шума и людей, как на базаре в праздник. Правда, ко всему, наверно, нужна привычка. Он, например, привык к сельской тишине, которая редко нарушается человеческим гомоном, а больше голосами животных, птиц, далеким тарахтеньем трактора в поле. Тут же и гомон, и грохот, и тарахтенье — все вместе.

Перебирая в памяти разное из той давней истории, Левчук не мог избавиться от мысли-вопроса: кто он теперь? И какой он ? Иногда, задумавшись, он зримо представлял себе его рослую фигуру, лицо уверенного в себе человека с внимательной, доброй улыбкой. Левчук не любил людей молчаливых, хотя сам не очень был разговорчив, но это сам. Он должен быть во всех отношениях лучшим. Возможно, он какой-нибудь инженер, специалист по части машин или механизмов, которых теперь развелось во множестве всюду. Может, даже сам строит машины, автомобили, к примеру. Автомобили Левчук уважал издавна, когда-то даже мечтал стать шофером, если бы не рука. Но с одной рукой не очень кем станешь. Года три назад в их колхоз приезжали из города шефы — инженер и техник, налаживали на ферме кормокухню, он немного поговорил с ними — понравились очень. Левчук даже подумал: а может, ион тоже специалист высокого класса. В общем, было приятно.

А может, он врач в какой-нибудь известной больнице, делает операции, лечит людей. Левчук знал, как это важно — умело лечить людей, сам после войны частенько наведывался в больницы, был даже в санатории инвалидов войны в Крыму. Там же у него случилось досадное недоразумение с врачихой, и он думал, что если бы на ее месте был доктор — мужчина, то, возможно, никакого недоразумения и не произошло. И ему потом несколько раз даже приснилось, что его лечит он, хотя и не знает, кого он лечит, и Левчук не может ему рассказать о себе, потому что разве поверит? Действительно, все существовало лишь в его памяти, какие же у него еще доказательства?

Конечно, он мог стать кем хочешь — даже в голову сразу не придет, кем он мог быть в этой жизни, если человек не глупый и учился. Учился, так это уж точно, окончил институт и еще что-то, может, даже кандидат или как там у них называются эти ученые. Одна девка из соседней деревни вышла в городе замуж за сильно ученого, летом вместе приезжали к матери, и жена не называла мужа иначе как мой кандидат. А мать, известно, темноватая женщина, все перепутала и раза два назвала его депутатом. Но он не обиделся.

Наверно еще, он хозяйственный, любит считать копейку и уж никак не увлекается чаркой, ставшей главной радостью многих мужчин. Правда, Левчук и сам когда-то имел такой грех, но уж давно выпивает только по праздникам или по какому-нибудь уважительному случаю, если, к примеру, заявятся гости. Но жизнь Левчука ему не в пример — он должен быть лучше.

Еще он не сквернословит, ни в коем случае. Не то чтобы совсем не сказал когда грубого слова, но уж не так, как некоторые из нынешних, — что ни слово, то мат. Таких Левчук не уважал нисколько, хотя бы они были куда как ученые или даже начальники. Это в войну, среди крови, голода, смерти ссорились и ругались, а теперь за что? Чего теперь не хватает в жизни?

Но кем бы он ни был по специальности или положению, прежде всего должен быть человеком. Левчук не вкладывал в это понятие какого-нибудь сложного или философского смысла, это у него формулировалось просто: быть добрым, умным и удачливым, но не за счет других. Он уже нагляделся в жизни на разных ловкачей, строивших свое благополучие за счет ближних и умевших быть умными с выгодой для себя. С наибольшею для себя пользой. Таких Левчук ненавидел, как можно было ненавидеть на войне тех, кто пытался выжить ценой гибели ближних. Сам он никогда нигде не схитрил, никого не обманул с корыстью для себя, это ему было противно, и он ненавидел все малые и большие хитрости в людях.

Впрочем, все это были его мечты, мысли, передуманные им за долгие тридцать лет — ровно половину своей не очень удавшейся жизни. На деле же, знал он, все может оказаться не так. Но он не хотел, чтобы оказалось не так, он жаждал, чтобы было так, как должно быть, как бы он хотел, чтобы было с его сыном, которого не дал ему бог. Вместо сына родились три дочки со всеми чертами их матери, ее характером, внешностью. Отцовского в них ничего не было. Виктор, конечно, не сын, но столько с ним связано. Все, что Левчук пережил потом, до конца войны, хотя тоже было не легче, но уже не то. Тогда же он выложился весь, может, даже превзошел себя, и на другой раз у него просто не хватило бы пороха...

###### 10

Очередной раз ткнув в казанок протиркой, Левчук почувствовал, как та долезла до дна, и сказал Грибоеду отцедить — самому с одной рукой сделать это было неловко. Грибоед прикрыл казанок полой шерстяного, наверно, когда-то шикарного, с кантами мундира и опрокинул его над травой. Воды там оказалось немного, он дождался, когда она выльется вся до капли, и поставил казанок на огонь:

— Хай посохнет.

— Что там сохнуть! Неси в ток, есть будем.

Грибоед опять взял казанок, из которого валил пар, Левчук раскрыл двери тока. Задремавшая было Клава с маленьким белым свертком в руках очнулась от шума и слабо, как показалось Левчуку, улыбнулась одними губами.

— Давай есть будем! Вот бульбочка свежая. Наверно, свежей не ела в этом году?

Она сделала попытку приподняться, и Левчук ей помог, подвернул под спину соломы, подмял от стены кожушок. Не выпуская из рук малого, Клава кое-как устроилась, поправила на лбу волосы.

— Спить? — спросил Грибоед, подвигая к ней казанок.

— Спит. Что-то все спит и спит, — сказала радистка с некоторою даже тревогой в голосе.

— Ничего. Пускай спить. Буде, значит, як батька, спокойный.

— Спасибо вам, дядька, — покорно сказала Клава.

— Нема за что. Конешне, якая баба, может бы, лепей управилась...

— А и ты неплохо, — сказал Левчук. — Ни крику, ни плачу.

— Тэта не я. Што я? Тэта яна во.

Они вдвоем, обжигая пальцы, начали доставать из казанка горячие картофелины, а Клава покойно сидела, откинувшись к стене с малым под рукой. Левчук, взглянув на нее, сказал:

— Ну ешь. Чего ты?

— Там, в сумке, лонжа была, — сказала она.

И он, вытащив из-под Клавы тощую немецкую сумку, порылся в ее содержимом.

— Ложка — вот, на.

— И фляжечка там. Достань уж. Ради такого случая.

— Фляжка? Ого! Го-го! — не сдержался Левчук и действительно вскоре извлек из сумки белую алюминиевую флягу, в которой что-то тихонько плеснулось. — Самогон?

— Спирту немного. Держала все...

— Ох ты, молодчина! — проникновенно сказал Левчук. — Дай тебе бог здоровьечка, малому тоже. Грибоед, как, киданем?

— Ды ужо ж, коли такое дело, — смущенно ответил Грибоед, и глаза его как-то по-хорошему блеснули в пестрых от множества теней сумерках тока.

Они охотно и с некоторой даже торжественностью выпили разведенного во фляге спирта: сначала Левчук глотнул, выдохнул, сделал небольшую паузу и со смаком закусил картофелиной. Флягу передал Грибоеду, который сперва поморщился, сделал небольшой глоток, поморщился больше — всеми частями своего обвялого, без времени состарившегося лица.

— А хай на его! Ужо самогонка лепей.

— Сравнил! Это же чистый, фабричный... А то самогон...

— Так что, что фабричный. Кажу, приемней, мякчей быдта.

— А ты выпьешь? — Левчук поднял глаза на Клаву.

— Так нельзя же мне, видно, — смущенно ответила Клава.

— А чаму? — сказал Грибоед. — И выпей. Бывало, моя, как кормила, так иногда и выпье. В свята. Ребенок тады добра спить.

— Ну я немножко...

Она поднесла флягу к губам и немножко сглотнула, будто попробовала. Левчук удовлетворенно крякнул — чужое удовольствие он готов был переживать как свое собственное.

— Ну вот и хорошо! Теперь есть будем. Бульбочка хотя и нечищеная, а вкуснота. Правда?

— Вкусная картошка, да. Я, кажется, никогда в жизни такой не ела.

— Как грибы! Соли бы чуток побольше, а, Грибоед? — с намеком сказал Левчук. Но Грибоед только повертел головой:

— Нет, не дам. Савсем мало осталося. Яще треба буде.

— Не знал я, не знал. Скупой ты.

— Ну и что, что скупой? Каб же ее больше было. А так... На раз языком лизнуть.

Клава съела пару картофелин и откинулась спиной к стене.

— Ой, как в голове закружилось! — сказала она.

— Это ничего, это пройдет, — успокоил ее Левчук. — У меня у самого оркестр играет. Так весело.

Грибоед неодобрительно посмотрел на него. Морщины на лице ездового прорезались четче, что-то характерное и осуждающее появилось в его всегда обеспокоенном взгляде.

— Чаго веселиться? Яще солнце вунь где.

— Ну и что?

— А то. До вечера яще вунь кольки.

Левчук с очевидным аппетитом уплетал картошку. Как и двое других, он устал за ночь, проголодался и теперь захмелел немного, тем не менее неизвестно почему чувствовал себя уверенным и сильным. Конечно, он понимал, что может случиться разное, но у него был автомат, одна крепкая, здоровая рука, хотя и второй он уже наловчился, превозмогая боль, помогать здоровой. За войну он перебывал в десятках самых невероятных переделок, изо всех пока что выбирался живым и теперь не представлял себе, что в этой тиши с ними может случиться скверное. Самым скверным, конечно, было погибнуть, но гибель не очень пугала его, он свыкся с ее неизбежностью и, пока был живой, не очень пугался смерти. Силы для борьбы у него доставало, так же как и готовности постоять за себя.

Другие вели себя иначе.

На Грибоеда все заметнее начала находить какая-то тяжелая задумчивость, будто он вспоминал что-нибудь невеселое. Жуя картофелину, вдруг переставал двигать челюстями и замирал, неподвижным взглядом уставясь перед собой. Клава все успевала делать одновременно: и ела и все время с какой-то нервной обеспокоенностью охаживала младенца, вместе с тем будто вслушивалась во что-то, слышимое одной ей. Левчук уже не однажды заметил за ней эту особенность и, доедая картофелину, сказал:

— Что ты все ушами стрижешь?

— Я? Кажется, слышно что-то. Голоса вроде...

Они все прислушались, но ничего определенного не было слышно, и Левчук, чтобы окончательно убедиться в их безопасности, взял за шейку автомат и вышел из тока.

Время приближалось к полудню, на гумне здорово припекало солнце, слабо шумела под ветром яблоня, и нигде никого не было видно. Над разомлевшим от жары пространством растекалась дремотная тишь. Левчук обошел гумно и вернулся в ток.

— Мерещится тебе, Клавка. Нигде — никого.

— Может, и кажется, — успокоенно согласилась Клава. — Это у меня бывает; Я малая такая была трусиха! Боялась дома одна оставаться. Особенно вечером. Жили в Москве, на Солянке, дом старый, мышей была тьма. Отец часто в разъездах, а мама когда припозднится, так я забьюсь за буфет, в угол, и плачу. Мышей боялась.

— Мышей? — удивился Грибоед.

— Мышей, да.

— Мышей чаго же бояться. Хиба они укусять?

— Мыши — не волки. Волки — да. Волков и я боялся. Напугали когда-то, — сказал Левчук и с наслаждением вытянулся на твердом земляном полу. — Теперь бы кимарнуть часок. Как думаешь, Грибоед?

— Як знаешь. Ты — старший.

Грибоед без особой охоты доедал из казанка картошку. Левчук зевнул раз и другой, прикидывая, как бы так сделать, чтобы оставить Грибоеда посторожить, а самому действительно немного вздремнуть. Спать хотелось зверски, особенно теперь, когда он немного удовлетворил чувство голода да еще глотнул спирту. Но он ничего не успел сказать Грибоеду, как рядом, недобро всхлипнув, зашлась в каком-то безудержном плаче Клава, и Левчук подхватился с пола.

— Что такое? Ты чего? Ну чего ты? Все же хорошо, Клава!

Но она все содрогалась в беззвучном рыдании, спрятав в ладонях лицо. Левчук не мог взять в толк, что случилось, и всячески пытался ее успокоить, а Грибоед тихо сидел, подобрав под себя босые ноги, и печально глядел на обоих.

— Ну ладно, чаго ты? — погодя сказал он Левчуку. — Ну и что! Хай поплача. У кожнага нешта есть, как поплакать. У нее свое. Хай.

Левчук сел на прежнее место, и Клава действительно, раза два всхлипнув, рукавом гимнастерки вытерла глаза:

— Извините. Не удержалась. Больше не буду.

— Ты брось так шутить, — серьезно заметил Левчук. — А то знаешь... И мы заревем, на тебя глядя.

Губы ее снова скривились, казалось, она снова не сдержит в себе какую-то обиду, и Грибоед поспешил заверить ее:

— Ничога. Все добра. Галовнае — дитенок есть. Ладный таки. Вырасте. Война проклятая скончится, все наладится. У маладых все хутка налаживается. Старому уже тупик, а у маладых все впереди. Не треба убиваться. Кому теперь легко? Мне, думаешь, легко? Каб мне ваше горе...

— Да, — помолчав, заметил Левчук. — Давайте о чем веселом. Вот могу рассказать, как я перед войной чуть не женился.

Но Грибоед, занятый собственной мыслью, никак не отозвался на шутливое предложение Левчука и все сидел, печально уставясь перед собой.

— Век сабе не дарую: ну нашто я его тады в Выселки взял? Пачаму я его в землянке не кинул?

— Ты это про кого? Про сына?

— Ну. Пра Володьку. Век сабе не дарую...

— А я вот себе не дарую — отца не послушал, — подхватив разговор, оживился Левчук и сел ровно. — Это же я в сорок первом домой прибег — хорошо, недалеко бежать было — от Кобрина до Старобина. Под Старобином деревня моя, Курочки называется. Как немцы расколошматили полк, так мы кто где оказались: кто в плену, кто на восток подался, кто в лес. А я к бате прибег. Прибег, военное с себя сбросил, цивильное натянул, бате помогаю, живу. Батя говорит: спрячься, пока суд да дело, а я где там! Герой! Кого я буду бояться? Немцев пока нет, один полицай на деревню — Козлюк, здыхляк такой, недоделок, ходит с повязкой, драгунка на ремне. Так что, я его буду бояться? У меня у самого СВТ в варивне под стрехой, если что, я его враз шпокну. И правда, он меня не трогал, побаивался. Но вот под весну таких, как я, вызывают в район регистрироваться. Некоторые пошли, испугались — и тю-тю! Забрали. Раз такое дело, я за СВТ — и в лес. Вот тогда Козлюк и осмелел. Приехал с оравой районных бобиков — и за батю. «Где сын?» — «Не знаю». — «Ах не знаешь, так мы знаем!» И забрали батю. И — тю-тю батя. Из-за меня, героя. Очень смелого. А что бы послушать да спрятаться. Так где там отца слушаться. Он же на печи сидел, а я повоевал уже. Защитник Родины, а батю защитить не сумел.

Малый на руках у матери начал проявлять беспокойство — затрепыхался в своем шелковом сверточке и впервые, наверное, подал свой тихий, плаксивый голос. Клава взяла его — очень бережно и неумело, тихонько приговаривая что-то ласковое, и Грибоед сказал понимающе:

— Ага, давай, давай! Бач, есть хоча. Ну а ты адвярнися, чаго не бачыв?

Левчук отвернулся, и Клава пристроила ребенка к груди, слегка прикрывшись дерюжкой.

— А и хорошо! Ей-богу! — сказал Левчук, снова вытягиваясь на полу. — Не было бы войны, была бы у меня женка. Имел одну на примете. Ганкой звали. Да где там — ни Ганки, ни женки. Война!

— Господи! — с внезапно прорвавшейся болью сказала Клава. — Да разве я понимала, что такое война! Я же сама пошла, сама напросилась. Брать не хотели, по блату в радиошколу устраивалась. Думала... А тут! Господи, сколько тут горя, сколько крови, смертей! Как тут люди выдерживают, те, которые местные? Ну, мужчины, это понятно. А то женщины, девушки, дети. Их, бедных, за что? Бьют, собаками травят, сжигают. Да еще с такой звериной жестокостью!

— Во потому и бьють, — сказал Грибоед, тяжело вздохнув. — Бо без защиты. И разрешается. Партизанов не дуже побьешь — сдачи дать могут. А гэтых, як овечек. Приедуть, обкружать, погонять всех в клуб или в сарай, нибы документы проверить. Усе знають, что не документы, а идуть. Надеются. Уже и запруть где, а все надеются: а вдруг пужають? И уже стрелять начнуть — все надеются: а може, не всех. Так до самой смерти все надеются на лепшее. Каб яно спрахла, тое надеянье. Як яно помогае им уходвать наших!

— Ну хорошо, бьют немцы. А то ведь и наши. Полицаи эти. Как же у них руки поднимаются?

— Поднимутся, — сказал Левчук и сел ровно. — Потому как приказ. Если уж на такое пошли — форму надели, винтовки взяли, так сделают, что ни велят.

— Но как же пошли на такое? — не могла понять Клава.

— Жить захотели. И чтоб лучше других. А некоторые по глупости. Думали, это им хаханьки — с повязкой ходить. Третьи со зла на Советы. Обиделись и подались к немцам. А те сперва добренькие — «я, я», — посочувствовали, а потом винтовки в руки и приказ: пуф, пуф! Все с малого начинается.

— Хорошо еще, коли из-под силы, — рассудительно сказал Грибоед. — Оно и видать, коли из-под силы. Вунь был в Зарудичах выпадок, як палили; один немец угледел под печью подлетка, ды прикладом яго, прикладом запихал в самый кут — сяди. И гэный уцелел. Всех побили, попалили, а гэный уцелел. Немец уратовал. А которые як звери. От крови, от самогонки шалеют. Чем болей льют, тым болей хочется.

— Боже! — сказала Клава. — До сих пор все за себя боялась, а теперь мне вдвойне бояться надо. За него вот. Такой махонький!.. Золотиночка ты моя горькая, несчастненький ты мой мальчишечка, как же мне уберечь тебя? Почему же доля наша такая несчастная?..

Левчук с недовольным видом встал на ноги и отошел к двери — он не выносил таких причитаний, тем более женских, к которым просто не привык в жизни.

— Ладно тебе плакаться! Вынянчим как-нибудь! Вот только бы подходящее место найти. Видать, тут ни черта никого не дождешься.

— Дык яе ж рано трогать. Лежать ей треба, — заметил Грибоед.

— Пусть лежит. И ты с ней побудешь. А я пойду. Надо все-таки людей поискать. Где-то же они должны быть. Не всех же перебили. Может, осталось еще.

— В Круглянку треба подойти. Целая веска была. Отсюль километров десять.

— Что ж, можно и в Круглянку. У меня там дядька знакомый был. На май вместе полицию гоняли.

— Або в Шипшиновичи. Але Шипшиновичи невядома, уцалели али нет? При лесе стоять.

— При лесе навряд ли... Дай котелок, за водой схожу. Что-то пить хочется.

Только Грибоед потянулся за казанком, чтобы подать его Левчуку, как Клава, опять недобро содрогнувшись, вся напряглась во внимании.

— Что? — не понял Левчук.

— Слышите? Слышите?..

— Что? — недовольно прикрикнул на нее Левчук и сам тут же застыл на середине тока.

В полуденной тишине неизвестно откуда донесся робкий мотивчик губной гармошки. Левчук молча схватил автомат и бросился к двери.

###### 11

Дверь он только слегка приоткрыл и тут же прихлопнул снова — в узкую щель между досок и без того было хорошо видать, как по дороге из сожженной деревни ехали две повозки с темными седоками в обеих. В руках и за спинами этих седоков в черных пилотках торчали стволы винтовок, доносились голоса, смех и нежные звуки губной гармошки.

Левчук угрожающе-зло выругался.

— Что там, что? — начала испуганно добиваться Клава. — Немцы, да? Немцы?

— Немцы! — сказал Левчук и отпрянул от двери. — Грибоед — в угол! Ты накройсь! — Подскочив к Клаве, он выдернул из-под ее спины кожушок. — И лежи! Тихо только. Они мимо едут, — сам не веря в свои слова, пытался он успокоить друзей.

Грибоед послушно подался в угол, нашел там удобную щель и прилип к ней, следя за дорогой. Левчук припал к щели возле двери, вперив взгляд в повозки, которые быстро спустились к ручью, переехали его и, взбираясь на пригорок, поехали медленней. Он сосчитал седоков — в передней повозке их было четверо и трое в задней. Самое важное теперь заключалось в том, проедут ли они мимо или остановятся возле гумна.

Нет, они не поехали мимо — на этой стороне ручья повозки остановились. Послышалась какая-то команда или окрик, кто-то соскочил на дорогу, и вот все уже послезали с повозок. У Левчука недобро стиснулось сердце — похоже было на то, что из этой беды им просто не выбраться.

— Грибоед, смотри! Тихо!

Но и без его команды в току было тихо, Клава, вместо того чтобы прикрыться кожушком, привстала на коленях в соломе и, прижимая к себе младенца, не сводила глаз с Левчука. Грибоед напряженно сгорбился возле своей щели.

«Что они будут делать? Что будут делать?» — безмолвно твердил Левчук свой вопрос, наблюдая, как они там разбирали оружие, еще что-то, распихивали по карманам обоймы патронов. Но вот, оставив на дороге повозки, все тронулись по тропке к гумну. Почти в самом ее начале они разделились на две группы — одна взяла направление к току, другая, поменьше, начала обходить гумно с другой стороны от ольшаника. Все было бы просто и понятно, если бы они вели себя иначе, не с такой глупой беспечностью. Будто ничего не подозревая, покуривая и переговариваясь, без заметной опаски, открыто шли по стежке к гумну. Именно эта их глупая или показная беспечность вместе с неясностью их намерений и сбила Левчука с толку, внушив ему надежду — авось не сюда. Может, они идут дальше и пройдут мимо. Скованный ожиданием, он прижался к стене возле своей щели, поставил на боевой взвод автомат и большим пальцем левой руки тихонько потрогал переводчик, убеждаясь, что тот стоит в положении стрельбы очередями.

Четверо беззаботным, расслабленным шагом уже подходили к току. Их очень удобно было срезать теперь одной меткой очередью, но все та же неопределенность их замысла удерживала Левчука от этого. А вдруг пройдут мимо, ко ржи, по каким-то своим делам, потому что откуда им известно, что в этом току сидят партизаны, думал Левчук, деревенея от напряжения.

— Левчук, что? Что? Где они? — отчаянным шепотом домогалась Клава, но он только мотнул головой.

— Тихо!

На какое-то время полицаи скрылись за углом тока — Левчук прижался лбом к шершавому бревну стены и не мог ничего увидеть. Они появились уже возле самой стены за малинником. Впереди шагал рослый полицай в суконном мундире с обвисшим от тяжелых подсумков ремнем на брюхе, с немецкой винтовкой в руке. В пальцах другой он держал сигарету и поспешно несколько раз затянулся перед тем, как бросить окурок наземь.

Он уже был на середине двора, и у Левчука все еще тлела слабенькая надежда, что, может, пройдет себе дальше. Левчук напряженно следил через щель за направлением его взгляда, который сперва скользнул вдоль стены тока, слегка задержался на углу, наверно, на густой чаще малинника, потом метнулся куда-то в сторону и остановился на остатках их костерка, от нескольких головешек которого еще шел слабый, едва приметный дымок. Левчук молча выругал себя за роковую беспечность, но было поздно. Полицай шагнул к двери, и та тихо скрипнула.

Прижимаясь спиной к стене, Левчук вскинул навстречу автомат, все еще не в состоянии расстаться с последними мгновениями своей надежды. Он думал, что снаружи не много чего увидишь в сумеречном помещении тока. Но не успел полицай раскрыть дверь, как возле стены напротив взметнулась темная фигура Клавы и в напряженной тиши грохнул один, второй, третий выстрелы. Полицай тихо вскрикнул и то ли упал за косяк, то ли просто скрылся в малиннике. Левчук сквозь доски двери стрикнул коротенькой очередью, и, чувствуя, что тотчас выстрелят в них, растянулся на земляном полу. Под стеной напротив, забившись за солому, нервно тряслась с пистолетом в руке Клава.

— Ложись! Ложись! — успел крикнуть он дважды, и первая пуля снаружи ударила в стену, отколов от бревна возле двери толстую сухую щепку. Сразу же с двух сторон тока часто загрохали выстрелы, пули в нескольких местах продырявили истлевшие бревна стен, трухой и пылью осыпая чисто подметенный глиняный пол. Начиналась осада.

Недолго полежав возле двери, Левчук ползком бросился к стене напротив, заглянул в низкую щель. Выстрелы грохали не поймешь откуда, под крышей и в небе взвизгивали пули, но камни фундамента неплохо прикрывали их у самой земли. Правда, малинник, которым оброс ток снаружи, местами наглухо заслонял щели, и Левчук опасался, как бы те сволочи не подошли слишком близко. С близкого расстояния они могли бы ворваться в дверь, забросать их гранатами или расстрелять из автоматов в упор. Во что бы то ни стало следовало держать их как можно дальше от тока. Издали пусть стреляют. Теперь, когда начался этот бой, для Левчука все стало просто и обычно, окончательно исчезла неопределенность, потому что кончилась наивная детская надежда на авось. Он понимал, что попались они как следует, и все в нем устремилось к единой цели — не даться.

Он метался по току от стены к стене, заглядывая в щели, но полицаи тоже, наверно, укрылись, и, пока в углу не начал стрелять Грибоед, Левчук не мог понять, куда они подевались. Но если Грибоед стрелял, значит, он что-то видел, хотя бы с той, своей стороны. Клава лежала под стеной, прижав к себе малого и не сводя взгляда с двери. Левчук только раз взглянул в ее полные отчаяния глаза и понял, что радистке не повезло окончательно. Попались они все здорово, но ей будет хуже всех. Он хотел как-то ободрить ее, только не нашел для этого слов и, молча выругавшись, метнулся к овину. Та сторона тока не была прикрыта никем — надо было прикрыть ее самому.

В провонявшем дымом и копотью овине было почти темно и не светилось ни одной щели, кроме подслеповатого узкого окошка в стене. Он ткнул в его мутное стекло стволом автомата и тотчас вытянулся на устланном жердями полу. Одновременно грохнул недалекий выстрел, и на черном боку бревна блеснуло белое пятнышко — след пули. Значит, они перекрыли уже и эту сторону тока, уныло подумал Левчук, значит, и в рожь тоже не выскочишь. Их незавидное положение час от часу ухудшалось.

Полежав немного, он осторожно поднялся к окошку и сбоку взглянул в сторону ольшаника. На краю ржаной нивы чернели по грудь две фигуры в пилотках — они караулили его. Левчук, не высовывая автомата, дал наискось в окно коротенькую очередь в их сторону — пусть знают, что и тут есть кому выстрелить. Пусть не надеются! Затем, пригнувшись, перескочил высокий порог овина и упал под стеной возле Грибоеда, пристально наблюдавшего в щель. Клава лежала за соломой, бережно прикрывая собой беленький сверток с младенцем. Бахнул одиночный выстрел, взвизгнула под балкой пуля, и стрельба вокруг почему-то смолкла.

— Грибоед, патронов много?

Ездовой повернулся на бок, не отрывая взгляда от щели, ощупал карманы мундира, скрюченными пальцами вытащил несколько обойм.

— Во, четыре обоймы.

— И все?

— Ну.

— У тебя, Клава?

— Было восемь штук.

— Три выстрелила, осталось пять. Да-а... Повоюешь тут!

Положение, в общем, оставалось скверным, если не совсем безнадежным. Их обложили со всех сторон и держали под постоянным обстрелом. Конечно, патронов у полицаев хватало, им просто смешно было думать, чтобы долго отбиваться жалкими пятью десятками. Но тогда что же? Надо было на что-то надеяться или на что решиться, только Левчук не мог придумать на что. Полежав, он сдвинул переводчик автомата на одиночный огонь. Теперь он решил стрелять только прицельно и только по одному патрону.

— Что же Вам делать, Левчук? Боже, что же нам делать? — с тихим отчаянием вопрошала Клава.

— Тихо! Лежи! Смотри на дверь. Ты смотри на дверь. Если кто, бей прямо в лобатину! — приказал он и посмотрел на эту чертову дверь — огромную, из тонких неструганых досок, обеими половинками открывающуюся наружу, отсюда же ее нельзя было ни подпереть, ни задвинуть. Стоит тем сволочам бросить гранату, и они вовсе останутся без двери, тогда врывайся и расстреливай всех на месте.

На какое-то время в перестрелке настала заминка, полицаи, наверное, совещались, как быть, и вот где-то поблизости раздался приглушенный стенами голос:

— Эй ты, Кудлатый! Не пора ли сдаваться?

Левчук вздрогнул: Кудлатым его одно время звали в разведке, и теперь этот голос показался ему до того знакомым, что он удивился — кто бы это мог быть?

— Эй! Слышь? Пора сдаваться, пока не поджарили, Или ты уже тае — загибаешься?

— Гэта ж той, — обернулся лицом к нему Грибоед. — Что со станции прибег.

— Кудрявцев?

— Ну.

Левчук тихо выругался, он был ошеломлен этим открытием. Минуту он молча лежал, чувствуя, как его наполняет неодолимое желание сейчас же выскочить из тока и всадить в того подлеца все, что еще оставалось в его автомате. Пусть тогда убивают и его самого. Но все-таки он заглушил в себе внезапную вспышку гнева и не выскочил, а на коленях подался к Грибоеду.

— Вунь за поветкой. За соломой вунь вытыркается.

— А ну дай!

Он взял у ездового расхлябанную его драгунку и удобнее устроился возле стены. Как он ни старался просунуть винтовку в щель, туда пролезал только тонкий ствол с мушкой. Хорошо еще, что щели в стене снаружи прикрывал малинник, за которым вряд ли что можно было заметить. Впрочем, и отсюда видать было плохо, Левчуку стоило немалого труда направить винтовку на угол повети, где за соломой лежал Кудрявцев. Он дождался, когда тот шевельнулся, показав верх черной пилотки, и выстрелил. Потом, быстро перезарядив винтовку, выстрелил снова в то же самое место и подождал.

Но ждать не пришлось долго, из-за повети как ни в чем не бывало снова раздался зычный знакомый голос:

— Достреляешься, Кудлатый! Повесим за челюсть! На столбе подыхать будешь!

— Ахохо ты не хошь! — крикнул Левчук, не сдержавшись.

— Брось дурить, кретин! Высылай из сарая радистку и поднимай руки. Жить будешь!

— Я и так жить буду, подлюга! А ты в веревке подохнешь, продажная шкура!

— Ну, пеняй на себя! — донеслось снаружи. — А ну, хлопцы, огонь!

На этот раз они задали такого огня, какого Левчук давно уже не слышал. Грохало за поветью, возле дороги, от ольшаника; лесное эхо вокруг множило выстрелы, и казалось, целый взвод палит по ним со всех четырех сторон. Пули со злым частым стуком долбили и крошили истлевшее дерево стен, на головы сыпались щепки, труха, сухой мох из пазов. Соломенный мусор густо осыпал пол, и пыль столбом стояла в подстрешье. Наверное, они бы легко перебили тут всех, если бы не прикрытый малинником фундамент, который по-прежнему спасал их от пуль. Правда, теперь поднять из-за него голову, чтобы выглянуть в щель, невозможно, и все-таки выглянуть было необходимо. Левчук знал, что этот огонь не так себе, что под его прикрытием эти волки попытаются подобраться к постройке. И он, лежа под стеной, чутко прислушивался к беспорядочно частым выстрелам, чтобы уловить в них момент, когда следует ударить навстречу. У него уже был некоторый на этот счет опыт, и теперь он не так увидел, как внутренне почувствовал, что они близко. Тогда, вскинув автомат, он выстрелил через щель в одну сторону, в другую; рядом несколько раз грохнул из винтовки Грибоед. Скрываясь с головой за камнями, он успел заметить сквозь сухие стебли малинника, как кто-то там тоже упал на землю, кто-то, пригнувшись, метнулся в сторону, за поветь. Наверно, умирать в этом гумне им тоже не очень хотелось. Минуту спустя из ольшаника еще постреливали, но возле повети уже притихли. Похоже, что он опять выиграл какую-то для себя передышку, возможность подумать, как быть дальше. Но тут его охватило новое беспокойство за тот конец тока, и он бросился по лестнице на овин.

Он сделал три шага по мягкой земляной засыпке и растянулся возле ветхого соломенного щитка. Здесь было несколько дыр, через одну он глянул сверху на рожь и злорадно ухмыльнулся: двое в черных пилотках, с расстегнутыми воротниками кителей по-воровски подкрадывались к току. Ощутив коротенькое удовлетворение в душе, он медленно взвел затвор. Полицаи, пригибаясь, чтобы не слишком высовываться над рожью, не могли здесь видеть его, и он, тщательно прицелясь, щелкнул одиночным выстрелом. Передний полицай, будто удивившись чему-то, выпрямился во весь рост, запрокинув голову, повернулся на каблуках и рухнул всем телом в рожь. Второй, не дожидаясь, когда попадется на мушку, прытко припустил к ольшанику. Левчук торопливо выстрелил вдогон без всякой надежды попасть и тут же пожалел напрасно истраченный патрон.

Двух выстрелов оказалось достаточно, чтобы его засекли, и как только первая пуля, сыпанув песком, ударила через потолок снизу, он скатился по лестнице в ток. Он ощутил в себе чувство признательности к этой старой постройке, которая своим простором и спасала их тут. Пусть стреляют, подумал Левчук, ток большой, не так легко здесь в кого-либо попасть.

Он лег у стены, к которой все время прижималась Клава, и в узкую щель между бревен попытался увидеть, куда девался бежавший из ржи полицай. Но, кажется, с этой стороны его нигде не было, или, может, он уже успел скрыться в ольшанике. От повети еще раза два выстрелили, потом как-то разом все смолкло.

— Эй ты, живой еще? — глухо донесся все тот же голос Кудрявцева. — Хватит пулями кидаться! Давай радисточку и катись к чертовой матери! Слышь!

В гнетущей тишине, наставшей после лихорадочной стрельбы, эти слова за стеной прозвучали зловеще. Левчук молчал, и те тоже замолкли: наверно, ждали ответа. Трудно было понять, почему они требуют радистку и откуда им известно, что она тут. Но, по-видимому, известно. И Левчук вдруг понял, что именно за этим они сюда и приехали. А он, балда, все на что-то надеялся, полагался на знаменитое авось — надо было сразу же секануть по ним очередью, может бы, меньше осталось. А теперь что сделаешь? Клава, во второй раз услышав их требование, опустила на солому малого и заплакала.

— Ой, господи!.. Ой, что же нам делать?..

Действительно, что делать — было неизвестно, но и не сдаваться же этим подонкам. И Левчук, лежа за фундаментом, громко прокричал в ответ:

— Эй ты! Иди возьми радисточку! Ну! Иди возьми!..

И, вскинув автомат, выстрелил туда через щель — выстрелил всего только раз, больше он не мог позволить себе, но и этого раза для них, наверно, было достаточно.

— Ну, падла! — крикнул Кудрявцев. — Держись! Скоро мы тебя поджарим, как кабана в соломе!

###### 12

Левчук сразу понял, что это было их намерение, а не пустая угроза. Конечно, куда как соблазнительно было сжечь всех вместе с током, но для этого, наверно, надо было к нему подойти. И он решил ни в коем случае не подпускать их к току, отбиваться до последней возможности. У него был парабеллум с горстью патронов, две обоймы оставались у Грибоеда и пять патронов у Клавы — может, и удастся продержаться до ночи. Им очень нужна была ночь, может, в ночи они бы и спаслись. Но солнце, черт бы его подрал, висело еще высоко, до ночи еще надо было дожить. До ночи им было не ближе, чем до конца войны.

— Грибоед, смотри! Будут подползать — бей!

Про себя он прикинул, что двух, наверное, они подстреляли, а может, даже и трех. По выстрелам трудно было определить, сколько их там осталось, но, пожалуй, не больше пяти. Двое лежали за углом повети, двое скрывались в ольшанике, и один, наверное, сидел в засаде во ржи. Второй там уже не поднимется. Постаравшись, наверно, можно подстрелить еще двух, и если к полицаям не придет подмога, то к вечеру их силы окажутся равными. Тогда они еще поглядят, кто кого.

Левчук стал следить за той стороной, от леса, которая теперь казалась ему наиболее опасной. Он думал, что кто-то из них поползет оттуда с огнем, чтобы поджечь ток. Или, может, прежде зажгут поветь? Правда, он не знал, с какой стороны дул ветер и куда понесет огонь. Но он как никогда прежде был бдителен и намерился не подпустить поджигателя.

Потому, когда из-за повети грохнул очередной выстрел и пуля, сверкнув в подстрешье, навылет пронизала крышу, он ничуть не встревожился, подумав, что это трассирующая. Следом грохнуло еще раз, никакой трассы не было видно, и он решил, что это обычная. И только когда прогремел третий выстрел, он понял, что они надумали, и от гнева у него помутилось в глазах.

Они начали обстрел зажигательными.

Клава лежала на боку под стеной, заслоняя собой младенца, в углу возле своей щели замер Грибоед — они не поняли еще ничего, и он ничего не сказал им. Он ждал, когда загорится крыша, и против этого был бессилен. Он даже не мог долезть до нее, чтобы попытаться затушить огонь. Да и чем тут было тушить?

Долго ждать ему не пришлось — после четырех-пяти выстрелов в току потянуло дымом. Клава первая повернулась возле стены, глянула вверх и приглушенно вскрикнула, будто от боли:

— Левчук, Левчук!

— Тихо! Подожди! Тихо!..

Но чего было ждать, он не знал и сам. Первые минуты он только смотрел, как с конца тока, над их головами, занималась огнем стреха и ток все больше наполнялся дымом. В соломе сначала прогорела небольшая дыра, потом огонь от нее быстро побежал вверх и в стороны. Порывистое пламя, набрав силу, затрещало, загудело, пожирая сухую солому; сквозь дым на их головы посыпались соломенная гарь и угли. Вскоре Грибоед вынужден был оставить свой угол и перебраться поближе к двери; Клава с младенцем подалась туда же. Левчук оставался на прежнем месте, то и дело поглядывая в щель. Ему, и общем, пока было терпимо, если бы не клубами валивший в ток дым, от которого нечем было дышать, и Левчук представлял себе, что тут будет, когда займется вся крыша.

— Клава, в овин! — крикнул он радистке. — Живо!

Клаву не надо было уговаривать, она проворно перекатилась через порог, и Грибоед, стукнув дверью, запер ее в овине.

Вдвоем с Грибоедом Левчуку стало легче и проще, отпала надобность все время заботиться об этой несчастной матери. Пока по ним не стреляли, они могли посовещаться и решить, как быть, потому что очень скоро всякое их решение могло оказаться напрасным.

— Пропадем мы, напэвна, га? — спросил Грибоед, повернув к Левчуку растерянное лицо с покрасневшими от дыма глазами.

— Пусть они пропадут, — сказал Левчук, не найдя в утешение ничего другого. — А мы еще посмотрим...

Он лихорадочно перебирал в голове все возможные варианты спасения и не находил ничего. Пока полицаи караулили их со всех четырех сторон, выбегать из тока было безрассудством. Но и оставаясь тут, они не могли продержаться долго. Тогда что же делать?

Перегорев в креплениях, рухнула крайняя пара стропил, взбив в конце тока густой рой искр. Грибоед отодвинул в сторону босые ноги, а Левчук, едва увернувшись от огня, отбросил сапогом горящую палку и перебежал к двери.

— Ну во, зараз сгорим, — спокойно сказал Грибоед к закашлялся.

«Да, так, пожалуй, сгорим», — подумал Левчук. Но, прежде чем сгореть, надо было что-то сделать или хотя бы попытаться сделать, а если уже не получится, тогда что ж, тогда оставалось гореть.

— Грибоед! — крикнул он, тоже закашлявшись. — Грибоед, а ну дверь! Толкни дверь!

Грибоед протянул руку и толкнул половинку двери, та немного приотворилась, и сразу же из-за повети бахнули два выстрела. В тонких досках двери появились две новые дырки.

— Да-а... Холера на их!..

Однако другого выхода у них не оставалось, надо было прорываться из этого ада, а прорваться можно было лишь через дверь. Уже пылал весь конец тока. Вверху гудело и трещало, солома и поплет почти сплошь прогорели, теперь пылали стропила и верхние венцы стен, по которым бегали языки пламени. Пол густо засыпало пеплом, гарью и огненным мусором догоравшей соломы. Грибоед закутался в обгоревшую полосатую дерюжку, Левчук спохватился, что горят сзади штаны, и, поерзав по земле, едва затушил их. Становилось невыносимо жарко, внизу тоже всюду дымилось, от дыма саднило в горле, и слезы не переставая текли из глаз, порой вовсе не давая глядеть. Только возле приоткрытой двери еще можно было ухватить свежего воздуха.

В овине тоже, наверно, стало не лучше, хотя земляная присыпка на чердаке и предохраняла его от огня, который по крыше подбирался уже и к овину. Через несколько минут дверь из него резко распахнулась, и, зайдясь в кашле, на пороге упала Клава.

— Не могу... Не могу больше! Левчук! Я выйду! Спасите ребенка...

— Молчи! — зло крикнул на нее Левчук. — Я тебе выйду! А ну ползи сюда!

Все кашляя, она подползла к двери, и он отодвинулся в сторону, давая ей место рядом. Одна половинка двери была немного приоткрыта, в нее задувал ветер и крутил дым, валивший не поймешь куда — то ли в ток, то ли из тока. Левчук потянулся и автоматом толкнул дверь дальше — она распахнулась шире. Опять грохнул выстрел, другой, одна пуля ударила возле пробоя, расколов раму двери, другая, по-видимому, прошла мимо. Он крикнул Грибоеду: «Держи!», чтобы дверь не закрылась, асам кивнул Клаве:

— Давай! Слышишь? Живо в малинник!

Она подняла к нему залитое слезами лицо и, прижав младенца к груди, несколько секунд смотрела, боясь или, может, не понимая его намерения. Но времени у них оставалось все меньше, полыхала почти вся крыша, огонь оседал ниже и принимался за стены тока. Было так жарко, что казалось, вот-вот они загорятся сами. Испугавшись, что Клава не успеет, Левчук решительно толкнул ее к двери. Подобравшись, радистка покорно поднялась на четвереньки и, секунду помедлив, боком скользнула за прикрытую половинку в малинник. Он ожидал выстрела, но с выстрелом полицаи промедлили, наверно, ее прикрыл дым из двери, и от повети ее не сразу заметили.

— Грибоед, бей! По тем бей! — крикнул Левчук, а сам, рискуя вспыхнуть или задохнуться в горячем дыму, бросился по лестнице наверх. Ему надо было прикрыть ее сверху, не дать застрелить возле тока или перехватить во ржи, куда она неминуемо должна была податься. Он не представлял точно, как помочь ей, не знал даже, сколько у него было в диске, но отчаянно взлетел под самый огонь на овин к знакомой дыре в щитке.

Ржаную ниву внизу густо застилал дым, посвежевший ветер клубами гнал его в поле; задыхаясь, Левчук метнул по ржи затуманенным от слез взглядом и нигде не увидел Клавы. Возможно, ее застрелили в малиннике или она уже успела отбежать от тока и скрыться во ржи. Действительно, два темных силуэта с краю ольшаника стреляли куда-то сквозь дым, и он, побольше ухватив ртом воздуха, быстро направил на них автомат. Из огня и дыма он выпустил по ним все, что еще оставалось у него в диске, затем снова вдохнул горячего, обжегшего его грудь воздуха и понял, что задыхается. В глазах у него потемнело, он испугался, что потеряет сознание, и, ухватившись левой рукой за бревно, ринулся через дыру в малинник.

Он сильно ударился бедром о камень, но тут же вскочил, почувствовав, как из-под рук рикошетом брызнула пуля. Кажется, она его не задела, и он, пригнувшись, бросился в рожь. Тут его сразу накрыло горячим дымом, он опять задохнулся и, запутавшись ногами во ржи, упал, вскочил, побежал — прочь от огня, от тока, возле которого зачастили выстрелы и, наверное, появились немцы. Начали стрелять и со стороны ольшаника — над рожью в дыму сверкнуло несколько огненно-зеленоватых трасс, и он бросился в другую сторону, в поле, потому что дорога в ольшаник уже была отрезана. Дым, однако, редел, удушливым туманом расползаясь по ржи, и Левчук, пригибаясь, бежал все дальше. Сзади стреляли, даже кричали что-то, но он не слушал, ему надо было скорее добежать до леса, хотя бы до того самого ольшаничка, так как в поле спасения ему не было. И он начал забирать в сторону, пересек одну, вторую межу, все время пригибаясь, споткнулся, вскочил, помогая себе руками. На боль в правом плече он давно перестал обращать внимание, лишь стискивал челюсти, когда становилось особенно больно, кепку свою он потерял где-то, пот заливал его лоб, щеки и вместе с дымом выедал глаза. Потом стрельба по нему как-то отдалилась, вроде готовая и совсем прекратиться, и он подумал, что спасся. Только надо было в ольшаничек.

По белой от ромашек меже он выбежал из ржаного поля и тут же попятился назад. Но было уже поздно. На нешироком травянистом пространстве между рожью и лесом наперерез ему устало бежали двое; увидев его, задний что-то крикнул переднему, и тот, сноровисто упав на колено, выстрелил. Левчук, сильно пригнувшись, бросился назад, в рожь, и побежал поперек нивы. Вскоре, однако, рожь кончилась, впереди простиралась заболоченная луговина с некошеной осоковатой травой и за ней опять поле. Но в поле ему бежать было незачем, там его запросто могла настичь пуля. Да и сил у него было в обрез, легким не хватало воздуха. Он остановился, вынул из кобуры парабеллум и звучно клацнул затвором, дослав первый патрон в патронник.

Скоро появились и его преследователи: выглянув над рожью, он увидал их черные пилотки и выстрелил два раза подряд. Пилотки исчезли, он выглянул снова и, когда первая появилась над рожью, выстрелил еще раз. Потом с пистолетом в руке обессиленно побежал краем лужайки наискось от ржи к ольшанику.

На бегу он явственно чувствовал, что не успеет, что вот-вот следом выскочат из ржи полицаи. И он старался изо всех сил, только силы его катастрофически убывали. Он все больше слабел, шаг его с каждой минутой делался уже, ноги подкашивались, и он боялся, что упадет и тогда — все.

Он оглянулся, когда сзади опять грохнул выстрел и пуля прошла очень близко над его головой. Но и тогда он не ускорил бег, наоборот, почти перешел на шаг. Его преследователь остановился на краю ржи, выстрелил с руки, потом перезарядил карабин и стал на колено, вперев в него локоть. Так, конечно, целиться стало удобнее, можно было ударить наверняка. Но и тогда Левчук не побежал. Кроме того, что не осталось силы, что-то в нем надорвалось в этой бесконечной борьбе за жизнь, он про себя сказал тому: «Бей, собака!» — и, пошатываясь, побрел к ольшанику.

Ему оставалось совсем немного, чтобы скрыться в кустарнике, как полицай выстрелил. Пуля стремительно выбила в дерне из-под его ног косую черную полосу и срикошетила в небо: «Давай, давай!» — бросил он, не оглядываясь, и брел дальше. Он отчетливо чувствовал, как пуля в любое мгновение может пронзить его тело, но ничего уже сделать с собой не мог.

Третий выстрел донесся до его слуха на мгновение после того, как пуля хлестнула по поле пиджака и несколько патронов из кармана упали в траву. Он испуганно схватился рукой за карман, будто патроны теперь были дороже собственной жизни, и быстро собрал их в траве. Потом, держась рукой за карман, понял, что все-таки отошел от ржи далеко. Шанс получить пулю теперь значительно уменьшился, и он окончательно перестал обращать внимание на все еще грохавшие сзади выстрелы.

Он продрался через густое сплетение ветвей на опушке и взошел на хвойный пригорок. Тут начинался лес. Кажется, за ним не гнались, но он все шел, шел между сосен, пока не набрел на теплую сухую поляну, поросшую мхом беломошником. Споткнувшись о корень, упал на мягкий, усыпанный хвоей мох. У него уже не хватило сил повернуться на бок, и он остался лежать ничком.

Тем временем летний свет в небе начал тускнеть, солнце склонилось к закату, в лесу под соснами растекались прохладные сумерки, надвигалась ночь...

###### 13

Потеряв надежду кого-либо дождаться, Левчук взял чемоданчик и пошел в подъезд позвонить. Думалось, может, он их просмотрел и они давно уже дома. Конечно, в лицо он никого не знал, хотя и чувствовал каким-то своим чутьем, что если где увидит, то обязательно узнает.

На его три звонка опять никто не отозвался, квартира глухо молчала. В этот раз соседка тоже не поинтересовалась им, и Левчук опять сошел вниз во двор. Убивая время, обошел вокруг дворовой территории и вернулся на свою скамейку под кирпичной стеной. Надо было ожидать. Не ехать же без уважительной причины назад, если уж приехал за пятьсот километров, хотя никто его тут не ждал. Но эта встреча больше, чем кому-либо другому, была нужна ему самому. Он не мог забыть то, что тогда пережил, даже если бы и хотел это сделать. Так же как и ту ночь, когда ему повезло меньше. Тогда за его жизнь заплатил собственной жизнью другой, и эта дорогая плата, как невозвращенный долг, тридцать лет лежала на его совести. Трудно было жить с нею, но что сделаешь? Пережитого не переиначишь...

На рождество в сорок третьем они рвали «железку».

Сначала все шло хорошо, трое их под командой бывшего сержанта Колобова за ночь добрались из пущи до Селетнева, небольшой деревушки под лесом, от которой да железной дороги было два километра, передневали у своего человека и, как только стемнело, пошли на «железку». Охрана их проворонила, они быстро подложили мину и спустя минут двадцать грохнули тяжело груженный состав, шедший в сторону фронта. Ошеломленные немцы не сразу пришли в себя и опоздали открыть огонь, подрывники кружным путем возвратились в деревню, выпили, поели и завалились спать. Но у них была еще одна мина-запаска, которую грех было нести назад в пущу, и в следующую ночь, дав порядочный крюк, они подошли к «железке» с другой, лесной, стороны. Думалось, немцы их тут не ожидают и все удастся не хуже, чем удалось вчера. Но на повороте железнодорожной насыпи они заметили патрулей и притаились на краю лесного завала в пятидесяти шагах от линии. Надо было ждать. Часа три пришлось дьявольски мерзнуть на сильном морозе, пока дождались, когда патрули пошли в бункер греться, и поставили мину. На линии, в общем, было спокойно, перед тем прошел состав со стороны фронта, вскоре должен был появиться другой — на фронт. И тогда Колобову пришло в голову, что в спешке они не совсем как надо замаскировали мину, патрули при обходе могут заметить следы их работы и поднять тревогу. Левчуку очень не хотелось снова лезть через заснеженный завал к насыпи, он будто чувствовал, что это добром не кончится. Но отговорить Колобова от чего-либо, что тот вобьет себе в голову, было невозможно. Правда, вместо того чтобы послать кого-нибудь из троих — Левчука, Филиппова или Крюка, командир полез через завал сам.

Лезть через беспорядочно наваленные вдоль линии суковатые березы и ели было нелегко, пока он пробрался через них, прошло, наверно, немало времени, и на железной дороге что-то изменилось. Может, раньше времени начали свой обход патрули, а может, начальство вышло с проверкой на линию. Им из завала не очень было видать, что там случилось, только вдруг послышался крик, трассирующая очередь хлестнула по насыпи и вихрем пронеслась над завалом. Потом ударил пулемет из бункера. Чтобы прикрыть товарища, они несколько раз выстрелили туда из винтовок, но пулемет сыпанул по завалу такой густой очередью, что они сунулись головами под дерево и лежали так минут пять, не решаясь высунуться. И именно в это время Левчук услышал слабый крик Колобова и понял, что с командиром случилось наихудшее.

Пулемет захлебывался в своей слепой ярости, огненными потоками пуль осыпая завал, строчили патрули из-за насыпи, а Левчук через выворотины и суковины бросился на ту сторону, к линии. Потеряв рукавицы и разодрав рукав телогрейки, он выбрался наконец из завала и сразу наткнулся на Колобова, лежащего в окровавленном маскхалате возле суковатой рогатины-елки, перебраться через которую у него уже не хватило сил. Левчук молча ухватил его под мышки, обполз ель, под шквалом огня перевалил его через другое, косо поваленное дерево. Колобов постанывал, сжав зубы, из одной штанины его маскхалата лилась на снег черная кровь. Взмокнув на морозе от пота, Левчук за четверть часа все же одолел этот проклятый завал, выполз на его лесную сторону и не нашел там ребят. Он подумал, что, может, они отбежали в тут же начинавшийся лес, взвалил на себя Колобова и под непрекращавшимся огнем из бункера шатко побежал между деревьев — подальше от этого огненного ада.

Все время он ждал, что Филиппов с Крюком вот-вот встретят его, но он брел в сосняке с полчаса, а их нигде не было. Вконец умаявшись, он упал на снег и не скоро поднялся. Стрельба сзади будто стихала, хотя пулемет еще и трещал очередями, но тут, в лесу, его огненных трасс уже не было видно, и это вселяло надежду. Колобов все молчал, изредка поскрипывал зубами, и Левчук думал, что, видно, командиру досталось. Едва отдышавшись, он решил посмотреть раненого и расстегнул его брюки, но там все было так залито быстро густевшей на морозе кровью, что он испугался. Он снял с себя тонкий свой брючный ремешок и два раза обмотал им раненое бедро Колобова, пытаясь хотя бы остановить кровь. Затем, все прислушиваясь к звукам этой злосчастной ночи, долго нес командира через притихший, настороженный лес, а ребят так нигде и не встретил. Сначала он злился, подумав, что те убежали, но так далеко убегать, наверное, не было надобности. Значит... Значит, они навсегда остались все в том же завале.

Примерно в середине ночи он выбрался из леса. Ельник кончился, начались какие-то кустарники, мелколесье, стала совсем тихо. В безмесячном небе роями сверкали звезды, входил в силу мороз. Его рождественскую хватку Левчук давно уже ощущал прежде всего по своим рукам, которыми он держал Колобова, — руки мерзли так, что казалось, отмерзнут совсем. Телу и ногам в валенках было жарко, грудь горела от усталости, горячий пар валил изо рта, а руки зашлись так, что он едва мог терпеть. С Колобовым они не разговаривали, кажется, тот был без сознания или просто не мог вымолвить ни слова.

Неизвестно, как далеко он отошел от железной дороги и который был час, но ему казалось, что где-то должна была появиться деревня. Он все пристальнее вглядывался в сокрытую сумерками местность и не узнавал ее. Он просто не знал, куда шел, потому что в этих краях никогда не был, и брел наугад, надеясь все же прибиться к какой деревне.

Шло время, остановки его делались все продолжительнее, усталость брала свое, руки отмерзали, и он ничего не мог с этим сделать. Он выбивался из сил. До слез в глазах он вглядывался в ночной серый сумрак и все думал, что, может, где покажутся хоть какие-нибудь признаки близкой деревни. Только деревня могла спасти их обоих. Но его надежда на это таяла, как льдинка во рту, — местность вокруг лежала диковатая, малообжитая, в такой не скоро найдешь деревню, тем более ночью. И он в который уже раз, став на колени, взваливал на себя страшно отяжелевшее тело Колобова и куда-то брел в перелесках — в ту сторону, где, казалось ему, была пуща. Хорошо еще, что снег был неглубокий и особенно не затруднял ходьбу.

Он заметил их во время очередной остановки, как только опустил на снег Колобова и рукавом разодранного маскхалата вытер вспотевший лоб. В морозных сумерках показалось сначала, что это человек, но, всмотревшись, он понял: волк! Тот стоял среди мелколесья в полсотне шагов от него и настороженно вглядывался, будто дожидаясь чего-то. Левчук, однако, мало испугался — подумаешь, волк! У него была винтовка да еще автомат Колобова, что ему какой-то зимний оголодавший волк. Приподнявшись, он даже взмахнул на него рукой — мол, пошел прочь, дурак! Но волк только шевельнул ушами и слегка повел мордой в сторону, где появился еще один, а затем и два таких же, как и первый, подтянутых, настороженных, готовых к чему-то хищников. Левчук почувствовал, как похолодело в его разгоряченном сознании: четыре волка в его положении — это уже не шутка. Подумав, что они бросятся на него, Левчук взялся за автомат, висевший на его груди, одубевшими пальцами нащупал рукоятку затвора. Однако волки как будто не проявляли никакого враждебного к нему намерения и продолжали стоять в редком кустарнике — трое впереди и один на два шага сзади. Все чего-то ждали. Чего только?

Его тревога передалась Колобову, и тот, привстав за его спиной, тоже вгляделся в ночной снежный сумрак.

— Сволочи! Еще не хватало...

Не сводя с волков глаз, Левчук встал на ноги, сделал несколько шагов к кустарнику. Волки без заметного страха тоже отошли на несколько шагов. Что было с ними делать?

Вернувшись к Колобову, Левчук взвалил его на спину и пошагал дальше. На ходу, с подвернутой головой, ему трудно было следить за волками, он едва видел снег под ногами, но чувствовал, что они не отстают. Они шли рядом, параллельно его направлению, пристально следя за каждым его движением, и Левчук думал: может, стоит запустить в них автоматной очередью, чтобы отстали? А может, наоборот — не следовало их трогать, ведь они же пока не трогали? Может, они пройдут так немного и свернут по своим делам? Зачем им люди?

Но у хищников, видно, были свои намерения относительно этих двух выбивавшихся из сил людей.

Тем временем кончился и кустарник, впереди забелело огромное пространство поля. Левчук с внезапно вспыхнувшей надеждой подумал, что уж тут наверняка где-то будет деревня и эти твари наконец повернут обратно. Он опустился коленями в снег, затем лег на бок, свалил с себя Колобова и не сразу поднял голову, чтобы посмотреть на волков. Но они были тут же и даже подошли еще ближе. Рослый передний волк с одним заметно длиннее другого ухом приблизился к людям, может, шагов на сорок и стоял с некоторым даже вызовом в своей настороженной выжидательной позе. Двое других ждали немного сзади, а четвертого почему-то тут не было, и Левчук удивился: куда он делся? Он удивился еще больше, когда, оглянувшись, увидел, как, обходя кустарничек, где снег был поглубже, следовал еще один выводок. На чистом, притуманенном сумерками снегу были хорошо видны четыре зверя, быстро обходившие их с другой стороны.

Левчуку стало не по себе. Уже с твердым намерением отогнать их выстрелом, он перекинул через голову ремень автомата и только потянул затвор, как рядом обессиленно завозился Колобов.

— Постой, ты что?

— А что? Смотри, их уже семеро.

— Где мы — ты видишь? — трудно просипел командир, и Левчук растерянно вгляделся в сумрак, стараясь угадать, куда они вышли. В самом деле, лес они весь перешли, впереди в чистом поле что-то темнело, не кустарник и не бурьян, как погодя догадался Левчук, это был наполовину засыпанный снегом камыш, и за ним тускло белела голая ровнядь. В стороне от нее, кажется, поднимался пригорок, но там над темным и звездным небом ничего не было видно.

— Заровское озеро, — сказал после паузы Колобов и упал грудью на снег.

— Заровское?

Левчук удивился — куда же они забрели? Но, по-видимому, Колобов был прав. Та снежная ровнядь за камышом, которую он принял за поле, на деле оказалась озером. Конечно, озеро само по себе не представляло для них опасности, наверное, оно замерзло. Опасность была в другом, и она не дала Левчуку запустить по волкам из автомата. На длинном пригорке, что едва угадывался в темени ночи, знал Левчук, раскинулась большая деревня Заровье, которую они всегда обходили как можно дальше, потому что там располагался немецкий гарнизон с дзотами, траншеями, бункерами, круглосуточной охраной и патрулями. Стрелять тут, под носом у гарнизона, было бы самоубийством. Тем более в их положении.

Но тогда как же быть с этой стаей?

Волки, наверное, тоже почувствовали, что их территория скоро кончится и начнется та, где они не хозяева. Они обошли людей с обеих сторон и встали на снегу, будто ожидая, что те предпримут дальше.

Вперед, однако, можно было пройти.

Чтобы воспользоваться этой пока что единственной для него возможностью, Левчук перебросил через голову ремень автомата, напрягся, взвалил на себя Колобова. На том месте, где лежал раненый, осталось темное пятно крови, и он подумал, что, видимо, кровь манит хищников, обещая им скорую поживу. Но уж черта! Если это Заровье, то надо скорее перейти через озеро, а там, помнится, была еще деревня, может, в ней не окажется немцев, значит, найдутся добрые люди, помогут.

Он не дошел до камыша каких-нибудь десяти шагов, как одна его нога неожиданно провалилась в глубь снега, он рванулся в сторону и провалился обеими. Сразу же почувствовал, что попал в воду, наверно, тут была криница или не замерзшее с осени болото. Сильно разворотив снеговую целину, кое-как выгребся на более твердое, уже зная, что по колени мокрый, в валенках хлюпала вода. С досады он выругался, вспомнив, как перед выходом на это задание едва уговорил Башлыка поменяться обувью и отдал ему свои исправные сапоги, взяв эти валенки. Теперь не успел он пройти полсотни шагов, как почувствовал, что мороз стальными клещами стягивает его ступни, — как было идти дальше?

С Колобовым на спине он едва дотащился до берега озера, пробрался через тростник, еще раза два провалился, хотя и не так глубоко, как первый, и не до самой воды. Впрочем, теперь ему было уже безразлично, можно было идти и по воде. Ноги мерзли. Особенно скверно стало на льду, с которого ветер местами посдувал снег. Левчук застучал твердыми валенками, поскользнулся, едва не упал. В этот раз он прошел немного и почувствовал, что должен остановиться, иначе упадет вместе с ношей. Он осторожно опустился коленями на присыпанный снегом лед и бережно положил рядом Колобова.

Какое-то время волки еще бежали ленивой рысью следом за вожаком с оттопыренным ухом, но остановился вожак — и остановилась вся стая. Они ждали, и Левчук вдруг потерял выдержку. От всех этих бед, одна за другой сыпавшихся на его голову, трудно было сдержаться, он громко и зло выругался, давая тем выход своему отчаянию. Бежать было невозможно, стрелять тоже — неужто же им придется погибнуть на этом проклятом озере?

Наверное, волки почувствовали беспомощность двух ослабевших людей и совсем осмелели. Пока Левчук с Колобовым неподвижно лежали на льду, они обошли их полукругом и закрыли проход вперед. Из этого их полукруга оставался лишь выход назад, в лес, где в волчьей цепи был разрыв шагов в двадцать. Три другие стороны были уже отрезаны. Широко разойдясь по льду, но не приближаясь к людям, волки издали настороженно следили за ними.

— Сашка, ты видишь? Ты глянь, что делается! — возбужденно сказал Левчук, и Колобов с заметным усилием приподнял голову.

— Ладно, ты иди, — сказал он.

— Как? Они же тебя тут...

— Иди. Оставь автомат и иди.

— А если они... на меня?

— Не бойся. Я останусь... Ты пригони лошадь.

«В самом деле!» — мелькнуло в голове у Левчука. Это был выход. Он попытается вырваться из этой западни, добежит до деревни, пригонит лошадь. И приведет людей. Если только Колобов сумеет продержаться до того времени. И если волки выпустят его, Левчука, из своего кольца. И если он в деревне не налезет на немцев. И если немцы раньше времени не обнаружат Колобова... Слишком уж много насобиралось этих проклятых если, но другого выхода у него не было.

Левчук с трудом поднялся на ноги, которые пока еще слушались его, схватил винтовку и помороженными руками едва управился с туговатым затвором, дослал в патронник патрон. Потом, сглотнув давящий ком в горле, бросился к самой середке волчьей цепи, отчетливо сознавая, что если волки не выпустят его, то наверняка растерзают. Винтовкой он мог действовать только как палкой, выстрелить из нее он не имел возможности: первый же выстрел оказался бы для них гибельным. Хорошо еще, если немцы из Заровья их не заметили, наверное, выручали самодельные маскхалаты, специально надетые ими на это задание.

Едва сдерживая в себе накипевшую ярость, Левчук шел к стае. Он видел перед собой лишь ближайшего волка, который, поджав толстый хвост, невозмутимо сидел на снегу. Заряженную на всякий случай винтовку Левчук занес над собой, готовый ударить волка, если тот не уступит ему дороги. И волк уступил. Ощерился, припал на передние лапы, словно собираясь прыгнуть, но, видимо почувствовав гневную решимость человека, в последний момент отпрянул назад и отошел на несколько шагов в сторону. Левчук, не сбавляя шага и даже не оглянувшись, лишь следя за ним боковым зрением, быстро прошел еще шагов десять и вышел из их кольца.

Волки за ним не погнались, лишь торопливо замкнули за ним кольцо и подались к середине, где остался Колобов. Побежавший было Левчук остановился — отсюда ему уже плохо был виден Колобов в его маскировочном костюме, зато он хорошо различал волков. Они уверенно сжимали кольцо, и с ним сжималось у Левчука сердце. Теряя самообладание, он бросился назад, к Колобову, затем, передумав, изо всех сил побежал в прежнем направлении по озеру.

Минуту он бежал, боясь оглянуться. Поскользнувшись на смерзшихся валенках, упал, больно ударившись обо что-то бедром, вскочил и все-таки глянул назад — несколько тусклых пятен едва серело в притьмевшей дали. Ни крика, ни выстрела, однако, не было слышно, и он побежал быстрее. Он очень боялся не успеть, боялся, что волки управятся с Колобовым раньше, чем он добежит до деревни, которая была черт знает где, а до раненого волки, наверно, уже могли дотянуться лапой.

И все-таки он бежал, обливаясь потом, с горячей одышкой в груди, то и дело оглядываясь и все время слушая. Он ждал самого худшего — выстрелов, может, волчьего воя и напряженно всматривался вперед, со всевозрастающим нетерпением ожидая появления деревни. Ноги на бегу одубели — может, согрелись, а может, совеет отмерзли, он не чувствовал их, но на ноги он перестал обращать внимание — только бы они еще слушались.

Когда ночное безмолвие расколола гулкая очередь сзади, Левчук замер как вкопанный и затаил дыхание. Показалось: это не выдержал Колобов. Но как-то чересчур стремительно ударило еще и еще — далеко над озером прокатилось чуткое ночное эхо. Что-то слишком уж гулко, подумал Левчук, наверно, автомат так гулко не может. Будто подтверждая его сомнение, тотчас забахали винтовки, послышались крики, и он совсем растерялся.

Он чувствовал, что случилось похуже, чем если бы на Колобова бросились волки, наверно, волки тут ни при чем. Это немцы. Но откуда они стреляют? На слух палят по озеру или уже заметили Колобова? Чувствуя, однако, что тот в смертельной опасности, Левчук сорвался с места и что было силы побежал назад.

Пока он обессиленно трухал в своих смерзшихся валенках, на озере еще стреляли, доносились крики, а он даже не знал, что сделает, когда добежит до Колобова. Но все равно он бежал. У него была винтовка и сотня патронов в сумке, были две гранаты в карманах, только бы застать живым Колобова. Правда, подозрительно долго молчал его автомат. Стрелял пулемет, винтовки, автомат же упрямо молчал, и это его молчание скверным предчувствием терзало Левчука. Тем не менее он бежал, возможно, навстречу собственной гибели, потому что шансы отстоять Колобова были у него ничтожны.

А может, он успеет добежать раньше, чем это сделают немцы?

Эта счастливая мысль дала ему силы бежать быстрее, тем более что вскоре стрельба прекратилась. Раза два он услыхал голоса возле деревни и подумал, что это немцы спускались к озеру. Если бы они еще только спускались, то он, возможно, и успел бы...

Левчук, однако, ошибался — они не спускались, они уже поднимались с озера, где вместо волков учинили свою расправу.

Он понял это, когда увидел невдалеке тот самый тростник, возле которого провалился в воду и где оставил Колобова. Узнал и то место на льду. Оно было теперь истоптано множеством человеческих и волчьих ног, среда которых местами были видны пятна крови. Волков нигде уже не было, Колобова тоже. Ветер сдувал со снега темное клочье шерсти — наверно, перепало и волкам. Но что волки! Широкая борозда-след в снегу, прорезанная телом Колобова, вела в сторону деревни, откуда еще доносились приглушенные расстоянием голоса, смех, знакомая злая ругань.

Едва сдерживаясь, чтоб не заплакать, Левчук потоптался еще на снегу и бегом пустился по озеру...

###### 14

Несколько минут спустя он пришел в себя, сел — явь напомнила о себе гулом далекой стрельбы, воздушно, на той самой гати. Опершись руками на мшаник, он посидел, не сразу раскрыв глаза, а когда и раскрыл их, то все равно ничего не увидел — была ночь. Голова его, словно с похмелья, клонилась к земле, хотелось снова упасть на мох и лежать. Прислушиваясь к стрельбе, он определил, что бой шел несколько в стороне от того места, где была гать, похоже — в Круковском урочище. Значит, пришел черед первомайцев, добрались и до них каратели.

Все случившееся днем горячим туманом плыло в его сознании, но, по-видимому, нужно было время, чтобы припомнить все пережитые им подробности и разобраться в них. Лишь одно было для него бесспорно: он спасся — не сгорел в току, уберегся от пули, убежал в лес и теперь мог идти куда хочешь. Только радости от того почему-то было немного, в сознании его жила, заглушая собой все другие чувства, острая боль несчастья, большой непоправимой беды. Как знало-предчувствовало его сердце, когда прошлой ночью он не хотел отправляться на это задание, что удачи ему тут не будет. Но тогда его беспокоило другое, а того, что случилось, он не предвидел. Действительно, он же отправлялся в тихую и безопасную зону Первомайской бригады, а не на прорыв, не в самое пекло блокады. Но, по-видимому, самая большая беда именно там и подстерегает человека, где он меньше всего ее ждет.

Левчук сел ровнее и все продолжал вслушиваться. Поблизости было тихо, как может быть тихо погожею ночью в безлюдном лесу. Правда, его настороженный слух различал множество мелких невнятных звуков и шорохов, но за месяцы партизанской войны он хорошо свыкся с лесом и знал, что человеческий слух ночью чересчур обострен и что большая часть лесных звуков лишь кажется, а действительно подозрительное обнаруживает себя явно и сразу. Здесь робкую тишину леса нарушали приглушенные порывы ветра в вершинах, изредка падала пересохшая ветка, сонно возилась птичья мелкота на деревьях — ничего другого поблизости не было слышно. И он, все настойчивее проникаясь своими заботами и прислушиваясь к далекой стрельбе, решил, что пора вставать и как-то добираться до Первомайской. Судя по всему, только ночью и можно туда добраться, днем его наверняка перехватят каратели.

Пошатнувшись, он встал на ноги, сдвинул с живота на бедро парабеллум. Натруженное плечо тупо болело, наверное, надо было поправить повязку, но он подумал, что сделает это завтра. В лесу стояла непроглядная темень, чтобы не наткнуться на острый сук или дерево, он вытянул руку и пригнул голову. Правда, лес тут был редкий и голый, сосны стояли почти без подлеска. Он вспоминал путь, которым брел сюда несколько часов назад, надо было снова выйти к болоту и по опушке свернуть налево. Дальше он не очень и помнил, какая там была местность, однако надеялся, что, ориентируясь но стрельбе и звездам, выдержит направление. Лишь бы не наткнуться на немцев.

Он долго и медленно брел в лесной темноте, будто слепой, вытянув руку и на ощупь обходя деревья, чутко ощупывая ногами траву с бесчисленным множеством пней и всевозможных рогатин, зарослей жесткого, непролазного папоротника. Прежде всего ему надо было выбраться из леса, думалось, что край его где-то тут близко, потом он пойдет быстрее. Все время он вслушивался в неутихавшие звуки стрельбы, но больше был занят дорогой, и из его головы не выходила мысль о токе. Его мучил вопрос, что произошло с Клавой и какова судьба Грибоеда? Впрочем, Грибоед скорее всего там и остался, вряд ли ему удалось выскочить в дверь. Но куда запропастилась Клава? Как выскользнула из тока — будто провалилась сквозь землю, нигде он ее так и не увидел.

Как-то спохватившись, он заметил, что идет не на звуки стрельбы, а своим вчерашним путем, что стрельба давно уже осталась для него слева. Но он не стал поворачивать — только сейчас он понял, что ему необходимо именно туда, к гумну. Он не мог никуда больше податься, не зайдя на гумно.

Отчетливо поняв это, Левчук почувствовал в себе напряженное до боли нетерпение. Он перестал обращать внимание на кусты и рогатины и едва не бегом пустился по ночному лесу туда, где, по его представлению, должен был находиться ток. Он весь трясся от возбуждения, наново остро переживая вчерашнее. То, что еще час назад казалось для него удачей, теперь стало его бедой, он уже был уверен, что не должен был оставлять Грибоеда и Клаву, наверно, надо было поступить иначе. Правда, ни тогда, ни теперь он не знал как; он изо всех сил старался спасти ее, Грибоеда, себя тоже. Запоздалое чувство вины быстро разрасталось в его сознании, определенно он сделал что-то не так, потому что, кроме него, вряд ли кому удалось спастись из той пылающей западни, где он едва не остался сам. Прежде всего ему надо было зайти на гумно. Его гнало туда странное чувство, будто он сможет там что-то переиначить, сделать удачнее, чем сделал вчера. Он понимал, конечно, что теперь уж ничего сделать нельзя, все, что можно было еще сделать, наверное, уже сделали немцы. Тем не менее его неодолимо тянуло туда, как преступника тянет на место совершенного им преступления.

Он вылез из кустарника где-то по соседству с тем местом, где днем вбежал в него. Сразу стих шум ветвей и стало светлее, над притихшей летней землей лежало белесое летнее небо с редкими звездами и туманной полосой Чумацкого Шляха вверху. В луговой траве мирно стрекотали кузнечики, и впереди брезжил край, наверно, того же ржаного поля, где он едва не нашел свой конец. Поблизости должно было находиться и то злополучное гумно.

Левчук ненадолго остановился, задержал дыхание. Но, по-видимому, полицаи уже убрались, как всегда сделав свое страшное дело, вряд ли они остались ждать его тут. И все-таки, чтобы быть готовым ко всякой неожиданности, он потихоньку достал из кобуры парабеллум и, большим пальцем нащупав предохранитель, пошел вдоль опушки.

Он надеялся прежде увидеть огонь (не могло же гумно так скоро сгореть дотла), но впереди был лишь притуманенный полевой сумрак, и, сколько он ни вглядывался в него, ничего различить не мог. Тогда он, удивившись, подумал, что, может, вчера так далеко отбежал по ржи? А может, вышел в другое место и вообще шел не туда? Но он помнил, что там была дорога, которую он не перешел, значит, гумно и деревня все-таки находились где-то здесь рядом.

Рассудив так, он пошел более уверенно, все всматриваясь вперед, неожиданно провалился в какую-то яму и едва не упал, а выбравшись из нее, увидел из-за веток куста робкий проблеск огня. Показалось, что это далеко — ничего не освещая вокруг, огонек лишь слабо краснел над рожью, и Левчук притих, даже присел под кустом. Нет, поблизости вроде никого не было, мирно трещали кузнечики да за лесом ослабленно погромыхивала перестрелка. Однако перестрелка была далеко и не нарушала согласной тишины ночи.

Короткими переходами он начал осторожно приближаться к гумну. Шагов десять-пятнадцать пройдет и затаится, присядет, всмотрится в светлеющий закраек неба: не маячит ли что подозрительное? Но вокруг было пусто и тихо, и он, минуту спустя высунувшись из-за ржи, неожиданно оказался перед тускло догоравшим в ночи пожарищем.

В удивлении остановившись, Левчук с трудом узнал то самое их гумно. Ток стал наполовину ниже вчерашнего, верхние его венцы сгорели совсем, остались обгоревшие нижние, на которых в различных местах светились раздуваемые ветром угли; далеко по ветру несло дымом и удушливой гарью пожарища. Выйдя из-за ржи, он увидел в темноте ближний конец с овином, где было больше затухающего огня и дыма и даже кое-где трепетали на ветру мелкие язычки пламени, бросавшие красноватые отблески на опаленную яблоню.

Левчука тянуло к двери, где он оставил Грибоеда и куда перед тем, как бесследно исчезнуть, выскочила Клава. Обходить ток от дороги он не хотел, он побаивался дороги, а тихо вошел в рожь и пошел по ней, чтобы не шуметь, высоко поднимая ноги. Наверно, от ольшаника до тока было значительно дальше, чем ему казалось вчера, когда он наблюдал через щель, и он на полпути остановился, присел, послушал. Потом встал и, стараясь не очень шуметь рожью, издали обошел овин. В глубине души он все еще надеялся где-нибудь найти Клаву, наверно, он бы заметил ее в этой скупо освещенной, истоптанной ржи. Но Клавы тут не было. Впрочем, вряд ли она и могла быть, решил он, убитую или живую ее забрали в деревню. Грибоеда тоже. Но ему хотелось своими глазами убедиться, что никого из них тут не осталось, и потом уж отправляться в Первомайскую.

От яблони стал виден весь их вчерашний двор, где он варил картошку, даже было заметно черное пятно костерка на серой траве. Напротив была дверь в ток. Одна обгоревшая, густо побитая пулями половина ее косо зависла на нижней петле, другая, оборванная, валялась на земле рядом. И он заметил там что-то похожее на человеческое тело и выскочил из-за яблони. Стараясь не стучать подошвами, подбежал к двери, присел — от углей и золы пахнуло вонючим жаром, но сейчас можно было терпеть, не то что вчера. Отворачиваясь от жары, он протянул левую руку, пошарил ею и, напав на что-то мокрое и липкое, отдернул руку назад. Во второй раз, однако, нащупал косматое, облитое кровью лицо Грибоеда, его обгоревшую одежду и встал. Горькая вонь пожарища и чадный смрад головешек забивали дыхание. Немного передохнув, он снова нагнулся, пошарил рукой пошире, стараясь нащупать винтовку ездового, но вместо нее нащупал его овчинную шапку.

С этой шапкой в руке он отошел на десяток шагов от тока, не в состоянии отвести взгляда от темневшего на земле тела убитого. В отряде Левчук его знал давно, и хотя большой дружбы между ними не было, смерть ездового отозвалась в нем жалостливо-щемящей ноткой. Они все рисковали на равных, но вот Грибоед лежал перед ним мертвый, а Левчук был живой. Может быть, надо было попытаться сперва спасти старика, а потом уж спасаться самому, подумал Левчук. Но тогда оба они старались спасти Клаву, вместо которой по счастливой случайности спасся Левчук, а Грибоед вот погиб.

Шапка его, однако, была цела и даже не обгорела вроде. Кое-как сшитая из куска старой овчины, она бессменно зимой и летом служила ездовому, который больше всего заботился о своей однажды простреленной голове, бережно защищая ее от солнца... Левчуку живо припомнился теперь страшный расстрел Грибоеда и его удивительное воскресение в Чернолесском урочище, где они с санитаром Верховном холодной апрельской ночью грелись у костерка на болоте. Разговорчивый Верховец рассказал, как днем ребята привезли из Выселок расстрелянного немцами Грибоеда, которого те захватили возле его опустевшей усадьбы. Неизвестно, то ли жандармы специально караулили его там, то ли застали случайно, но в этот раз они дотла разгромили Грибоедову усадьбу, а его самого старший жандарм поставил лицом к березе и выстрелил из пистолета в затылок. Ночью на его бездыханное тело наткнулись хлопцы из разведки и привезли в отряд, чтобы назавтра вместе с еще одним убитым похоронить на пригорке. Сидя возле костерка в ту ночь, они недолго погоревали над слишком жестокой даже для войны судьбой старика и перевели разговор на другое. Занятые этим разговором, они не обратили внимания на то, как за дымом, напротив, ежась и потирая озябшие руки, кто-то начал устраиваться подле костра.

— Погреюся у вас. А то околел, халера...

— Грибоед! — испуганно вскочил Верховец. — Ты что?!

— Ды околел, кажу. Ватовку нехта забрал...

Они вдвоем испуганно уставились на Грибоеда, который как ни в чем не бывало протягивал к огню руки, ни словом не обмолвившись о своем воскресении из мертвых, и они не отважились его о чем-либо спросить. Утром его осмотрел не менее их удивившийся Пайкин, две недели Грибоед полежал в санчасти, да так и остался там при конях. Рана на его голове зажила, особенной боли он не ощущал, только почти перестал спать и тщательно оберегал от жары простреленную свою голову.

Да вот не уберег, прострелили и во второй раз. На этот уже окончательно.

Молча посокрушавшись возле убитого, Левчук подумал, что надо бы вытащить его обгоревшее тело из тока да похоронить в лесу. Негоже оставлять человека догорать в этом пожарище — мало ему и без того досталось при жизни.

Все прислушиваясь к тишине ночи, он сунул пистолет в кобуру, застегнул ее и снова шагнул к двери. Но только он нагнулся над телом убитого, как где-то поблизости ошалело залаяла собака и чуть в стороне от деревни взвилась в небо ракета; захваченный врасплох, Левчук вздрогнул, сжался в комок, высвеченный ее безжалостной яркостью, но тут же отскочил назад и притаился в тени за яблоней. Ракета, прочертив огненный шнур в небе, едва не долетела до гумна, упала, ударившись о землю, подскочила и быстро догорела в стороне от тока. Как только она погасла, Левчук бросился назад в рожь, с замершим сердцем гадая, заметили его или нет. Однако выстрелов пока не было, а вторая ракета вспорхнула в небо совсем в другой стороне — над дорогой и лесом, — торжественно-ярко засияв над пожарищем и беспощадно осветив все вокруг неестественным мельтешащимся светом. Но Левчук уже был к ней готов и, присев, проворно скрылся во ржи. Тут его не так просто было заметить, ракет он не боялся — боялся немцев и еще больше собак. Тот злобный лай овчарок в сожженной деревне был ему слишком знаком и больше всего заставил его встревожиться.

Когда и эта ракета сгорела, он вскочил и пустился по ржи к ольшанику. Но что-то смутило его, он смешался, присел, оглянулся. Показалось, где-то послышался голос, вроде бы даже обиженный детский плач, и он притих, затаил дыхание, вслушался. Уж не призраки ли завелись в этой ржи, удивленно подумал Левчук и опять, явственнее, чем первый раз, услышал недалекий слабенький детский плач. Но он не мог терять ни минуты, его явно обкладывали в этой ржи, скоро могли появиться собаки, и Левчук, спохватившись, бросился в сторону ольшаника.

Так бы он, наверное, и ушел в лес, если бы в тот самый момент путь ему не преградила густо засверкавшая над рожью трассирующая очередь. Спасаясь от нее, он снова распластался на усохшей земле ржаной нивы, слушая, как близкие разрывы пуль в ольшанике, будто передразнивая выстрелы, повторили их отдаленный стремительный треск. Теперь он уже знал наверное, что его заметили и что стреляли с дороги, значит, спасаться следовало все тем же, вчерашним, путем — через рожь полукругом к ольшанику. Как только очередь смолкла, он вскочил. Но прежде чем побежать, он свернул по ржи в сторону, описав в ней полукруг, пригнулся, послушал и вдруг увидел поодаль белое пятнышко у самой земли. Со смешанным чувством удивления и надежды он бросился в ту сторону, уже наверное зная, что это, подхватил теплый живой комочек и, притиснув его к груди, обежал круг пошире. Ему показалось, что где-то тут может лежать и Клава. Но Клавы тут не было, был лишь неизвестно как оказавшийся ее малой. Озадаченный Левчук побежал по ниве к ольшанику.

— Ух, гады! Ух, гады, — шептал он про себя, оглядываясь и слыша, как уже совсем близко заливались лаем собаки. Несомненно, они учуяли его и с минуты на минуту могли настигнуть во ржи. Но, к его счастью, ольшаничек темнел уже рядом. Только он с младенцем на руках успел сунуться в его спасительную темень, как сзади взмыла в небо очередная ракета и длинная трескучая очередь разрывных прошлась по ветвям. Ослепительно яркий свет, перемешанный с причудливой путаницей теней, обрушился на него сзади, несколько трасс мелькнули над головой, обдав его треском разрывных пуль и мелким крошевом веток. Он нечаянно упал на бок, испугавшись, что так недалеко уйдет, что бежать с младенцем здесь невозможно. Но и бросить его в тот самый момент, когда сзади мчались собаки, у него не хватило решимости. Он не знал, чем это для него обернется минуту спустя, и слепо рванул в кустарник, левым плечом раздвигая ветви, а полой пиджака прикрывая младенца, который смиренно затих в тепле, слабо перебирая ножками в мокрой пеленке.

###### 15

Первый проблеск рассвета застал его на краю нелюдимого болота в редком кочковатом ольшанике.

Наступал новый день, далеким нездешним светом занялся восточный закраек неба, вокруг стали различимы кусты, черные кривые ольхи, травянистая заболоть под ногами. Местность была незнакомая. Левчук давно уже перепутал все направления и петлял по каким-то заболоченным перелескам и вырубкам, перешел мокрую травянистую лужайку и снова забился в чащу ольшаника. В молодой плотный ельничек он не полез, обошел его стороной и все оглядывался и слушал, хотя и без того было очевидно — его догоняли. Всю ночь сзади то тише, то громче заливались лаем собаки. В темноте они отстали от него, но след не теряли и с наступлением утра заметно заторопились, наверстывая упущенное.

С непривычной неловкостью он придерживал за пазухой маленькое теплое тельце и думал: хотя бы скорей деревня, хутор, лесная сторожка или просто случайный человек в лесу, чтобы можно было оставить у него младенца. Сам он, как ни старался, уже не мог спасти эту жизнь, не было у него такой возможности. К тому же становилось все очевиднее, что немцы от него не отвяжутся. Вчера их было семеро, ночью стало побольше, у них пулемет, собаки, ракеты, видно, в этом направлении они замышляют что-то серьезное. А он, дурак, надумал тут проскочить в Первомайскую. Нашел место!

Он устало бежал краем поросшего ольшаником болота и не мог решить, что ему делать — обходить болото вокруг или лезть в воду. У него еще было в запасе несколько минут времени, еще можно было поискать убежище. Но без крайней нужды лезть в холодную воду не очень хотелось, думалось: где-то же она кончится, и он обойдет болото. Однако, судя по всему, болото было огромное и тянулось издалека, он бежал по извилистым его берегам около часа, а оно не кончалось. Ночная стрельба слышалась теперь справа, но отдельные выстрелы раздавались также сзади и слева — похоже, во всех направлениях шли бои. Он же забрел в неведомый лесной закуток и бежал в ту сторону, куда его гнали преследователи.

Малой за пазухой все больше начинал беспокоиться — выгибаться, дергаться, но, хорошо завернутый в шелковой пеленке, пока терпеливо молчал, и Левчук с острой тревогой подумал: что будет, если он расплачется? Разве он способен понять, что если им не поможет счастливый случай, то очень скоро оба они распластаются в кустарнике, посеченные автоматными очередями. Еще их могут затравить овчарками. А то схватят, выведут на большак и подвесят на телеграфном крюке за челюсть, чтобы умирали долго и мучительно, как некогда Трофим Дыла, связной их отряда в Чернущицах.

И все же Левчук продолжал надеяться, что раньше, чем немцы настигнут его, он наткнется на добрых людей и передаст младенца. Ему одному было бы гораздо сподручнее, сам бы он не очень и хоронился от этих подонков, а, подкараулив в удобном месте, встретил бы их огнем. Правда, для того надо было иметь пулемет или хотя бы автомат, но из пистолета он тоже стрелял неплохо, научился в разведке. С младенцем же на руках он не мог себе ничего позволить, потому что не был уверен в удаче, а напрасно испытывать судьбу не хотел. И он все шел, брел, бежал, продираясь сквозь заросли и стараясь обойти болото.

Болото, похоже, в самом деле было бесконечным. С ночи тянулись кустарники, лужайки, лозняк и ольшаник, а никаких деревень нигде не было. Оставалось надеяться только на самого себя, свою удачу и выносливость. К сожалению, силы его, как и его возможности, убывали с каждой минутой, он понимал это, но ему очень хотелось уберечь малого. С какой-то еще неосмысленной надеждой он ухватился за эту кроху человеческой жизни и ни за что не хотел с ней расстаться. Действительно, все, кто был поручен ему в этой дороге, один за другим погибли, остался лишь этот никому не известный и, наверно, никому не нужный малой. Бросить его было проще простого и ни перед кем не отвечать за него, но именно по этой причине Левчук и не мог его бросить. Этот младенец связывал его со всеми, кто был ему дорог и кого уже не стало, — с Клавой, Грибоедом, Тихоновым и даже Платоновым. Кроме того, он давал Левчуку обоснование его страданиям и оправдание его ошибкам. Если он его не спасет, тогда к чему эта его ошалелая борьба за жизнь? Жизнью он давно отвык дорожить, так как слишком хорошо знал, что выжить на этой войне дело непростое.

— Ничего, ничего, браток! — ободряюще проговорил он, обращаясь к младенцу, и не узнал собственного, охрипшего от долгого молчания голоса. — Еще мы посмотрим...

Может, это и хорошо, что собаки издали выдавали себя злым гончим лаем, теперь значительно усилившимся. Прислушиваясь к их приближению, Левчук пожалел, что в карманах у него не осталось горсти махорки, чтобы присыпать свой след. И он думал, что, наверно, придется забираться в болото, другого выхода не было.

Тут был твердый высоковатый берег с березнячком, болото немного отступало в сторону, он пробежал в прежнем направлении полсотни шагов и круто повернул назад. Там, где осоковатая заболоть ближе подступала к берегу, он широко отпрянул в сторону и, стараясь не очень следить в траве, полез к густому лозовому кусту, темневшему поодаль в болоте. Сначала было неглубоко, вода доходила не выше колен, но потом глубина увеличилась. Он пожалел, что не взял палку, хотя как бы ему было управляться с палкой? В болоте среди водяных окон местами зеленели кочки с лозой и ольшаником, и Левчук понял, что оно не слишком глубокое и, возможно, не погубит его.

Придерживая малого за пазухой, он торопливо пробирался от кочки к кочке, хватаясь левой рукой за ветки и постепенно погружаясь все глубже. В полсотне шагов от берега ноги его уже выше колен утопали в грязи, скоро мутная с торфом и грязью топь достигла бедер, и он думал: хотя бы она не стала глубже, потому что как тогда ему быть с ребенком? Но болото заметно становилось глубже, кочки редели, между ними заблестели чистые, без зарослей, прогалы черной воды, на поверхности которой плавало разлапистое листье кувшинок. Левчук знал, что кувшинки любят глубину, и не лез к ним, держась ближе к кочкам, где можно было ухватиться за мох и ветки. Он спешил, но старался пробираться как можно тише, чтобы его бултыханье в воде не было слышно далеко. Временами он останавливался и слушал. Однажды ему показалось, что он слышит голос, будто бы окрик, он шире расставил ноги на дне и замер, однако больше ничего не послышалось. Очевидно, голос долетел издали и не мог относиться к нему. Значит, еще оставалось немного времени. Пока он прислушивался, ноги его до колен вошли в вязкий ил, и он с усилием освободил их — сначала одну, затем другую. Пока возился в воде, намочил снизу пиджак и подумал, что так скоро вымокнет весь, чем тогда укроет малого?

Кое-как добравшись до мшистой, обросшей аиром кочки, он прислонился к ней, осторожно стянул с плеч пиджак и обернул им младенца. Тот посучил ножками, но не заплакал и покорно притих в тепле еще не остывшей одежды.

— Ну вот и хорошо! Ну и лежи! Главное: лежи и молчи! Может, еще как-нибудь...

Стоя по бедра в холодной воде, он высматривал, куда направиться дальше. Хорошо, если бы поблизости попалась более-менее сухая моховина, пригорок или островок, где можно было бы укрыться от собак, переждать погоню. Но его надежда на моховину или островок была тщетной, болото становилось все глубже, кочки редели, и он пробирался между ними со всевозрастающим риском уйти с головой в прорву. Сверток с младенцем он поднимал все выше и старательно обшаривал ногами дно, временами оскользаясь в нем на корнях кустарника и водорослей. Иногда он терял равновесие и едва удерживался над водой, поднимая со дна черную, быстро расплывавшуюся в воде муть. Тем временем совсем рассвело, тумана почему-то тут не было, в высоком утреннем небе стояло несколько разрозненных облачков, было очень тихо. И вот в этой тишине его напряженный слух уловил будто прорвавшийся откуда-то обозленный собачий лай.

Он испуганно оглянулся, поняв, что они уже тут, возле болота, и удивился, как он мало отошел от берега. С шумом раздвигая воду, бросился к ближайшей кочке, из которой торчал раздвоенный ольховый прутик с обвисшей над водой веткой. Как на беду, кочечка была маленькая и приютилась возле самого глубокого места, он весь вымок, пока добрался до нее, и даже подмочил пиджак. К тому же он затратил на это чересчур много времени, они были уже где-то поблизости и, возможно, услышали его. Чтобы приготовиться к худшему, он пристроил пиджак с младенцем на мшистом краешке кочки и, придерживая его рукой, другой приготовил пистолет. Вода здесь доходила ему до груди, он спрятал голову за ветку и ждал, сознавая, что, если полезут в болото с собаками, он должен увидеть их первым.

Только бы не заплакал малой.

Услыхал он их действительно первым еще до того, как увидел. В кустарнике невнятно-глухо прозвучал начальственный окрик, и на ольхе у берега качнулось несколько веток. Левчук еще глубже погрузился в воду, вперил взгляд в не заслоненный кустарником узенький край берега. Он перестал дышать, большим пальцем тихонько отвел предохранитель и тогда увидел их в небольшом промежутке между болотом и зарослями.

Первой из кустарника появилась коричневая, с подпалинами по бокам собака, ведя по земле чутким носом и бросая по сторонам быстрые взгляды, она стремительно шла по следу. Сзади, ломая кусты, едва поспевал ее поводырь в пятнистом разведчицком костюме и зимней, с длинным козырьком фуражке. За ним следовал еще один, точно такой же немец с собакой на длинном ремне. Они пробежали мимо и только скрылись в кустарнике, как на берег из зарослей высыпала вся их хищная стая — десяток карателей в одинаковых маскировочных костюмах, вооруженных автоматами, обвешанных сумками, флягами и биноклями. Длинной чередой они растянулись по берегу и, оглядываясь по сторонам, бежали по его следу, готовые в любое мгновение разрядить в него свои автоматы.

— Ох, гады! Ох, гады! — как заклятие, шептал он одеревеневшими губами, отчетливо сознавая, что его дело дрянь. Если только они не проскочат с его следа дальше, то ему долго тут не усидеть.

На какое-то время потом он перестал видеть их, скрытых ольшаником, он только слышал треск ветвей в зарослях и думал, что в ближайшие секунды все для него и решится. Пройдут или вернутся? Но там вскоре растерянно взвизгнула собака, послышался строгий хозяйский окрик, еще какая-то негромкая, произнесенная по-немецки фраза, и он догадался, что собаки потеряли след. Он по плечи опустился в воду, чуть наклонив голову в сторону, чтобы совсем скрыться за кочкой. Потом он оглянулся назад — за большим прогалом черной воды высился густой куст лозняка, где можно было бы укрыться надежнее. Секунду он преодолевал в себе рискованное теперь желание броситься туда, пока была такая возможность, но сдержался — наверно, теперь следовало сидеть на месте. Жаль, он недалеко отошел от берега, не хватило времени, если бы он раньше решился забраться в болото, то, возможно, и спасся бы.

Нет, дальше они не пошли — они возвращались.

Он снова увидел их в том же порядке — один за другим немцы выбегали из кустарника по его следу назад, и он сжался, впился в них взглядом, с замершим сердцем ожидая: а вдруг остановятся? Если остановятся и собаки укажут в болото, тогда все. Тогда считай, что он спекся.

Кажется, они проскочили дальше с его поворота, первая овчарка наверняка проскочила, и с ней пробежал поводырь, другие еще следовали по берегу, и тогда он увидел в прибрежной осоке свой след. Ну так и есть, несколько очень заметных на воде шагов — примятая осока, поднятая со дна, еще не осевшая муть, и он ужаснулся — бог мой, какая неосторожность! И так близко у берега! Хотя бы они не заметили, хотя бы прошли за собакой! Деревенея от стужи и напряжения, он следил, как возле этого места у березок пробежал один, другой, третий. Оставалось человека три, и вот мимо пробежал последний — нерасторопный толстяк с распаренным, обрюзгшим лицом. Левчук позволил себе вздохнуть глубже — может, еще и обойдется...

Ноги его на дне глубоко погрузились в ил, высвобождая их, он подвинулся грудью на кочку, склонился над малым, который неспокойно ворошился в его пиджаке, будто хотел сбросить его и взглянуть, что делается на свете. Левчук приподнял полу — личико младенца недовольно морщилось, и он испугался при мысли, что младенец сейчас заплачет. Чтобы как-то предупредить его плач, он выдернул из кочки стебелек аира и сунул его малому корешком в рот — соси! Тот и в самом деле зачмокал, притих, и Левчук подумал, что надолго или нет, но, кажется, обманул парня.

Затем он в напряжении замер — немцы, слышно было, возились поодаль, он думал, снова возвращаются, но пока что они не возвращались: наверно, они старались отыскать его потерянный след. Минуту слышна была их перебранка, потом чей-то звучный зовущий голос, на который откликнулись так близко, что показалось, сидели напротив. Левчук опять затаился, он перестал понимать, что они затевали, и затревожился.

Он начал оглядываться в поисках лучшего укрытия, все больше поддаваясь искушению перебраться за куст лозняка, а может, и дальше, пока их не было рядом и пока они не заметили его след. Но только он подумал о том, как увидел напротив немца: перекинув через шею связанные вместе сапоги, тот босиком лез, кажется, по его следу в болото. Другой с автоматом наизготовку стоял на берегу и что-то приговаривал, наверно подбадривая товарища:

— Forwerts, dort nicht tief! *[Вперед, там неглубоко! (нем.)]*

— Hier ist der Kluft *[тут прорва (нем.)]*, — недовольно ворчал босой, нерешительно шаря в воде ногами.

Левчук большим пальцем опять сдвинул предохранитель и опустил ствол пистолета на нижнюю ветку ольхи. Он решил подпустить немца не далее водяного окна с раздвинутым в нем покровом ряски и выстрелить. Уж этому немцу отсюда не выбраться, потом тот, с берега, наверно, расстреляет его. А может, Левчук еще успеет вторым выстрелом снять и того...

Ну вот и все!.. А столько было страха и переживаний, в то время как все оканчивалось так обыкновенно и глупо.

Как всегда в минуты безнадежности, от него отлетел страх, тем более испуг, мозг его начал работать трезво и точно, рука становилась сильной и меткой. В такой момент он не промахнется, он выстрелит наверняка. Немец, однако, будто чувствуя скорую смерть, не спешил, пробирался осторожно, высоко переставляя в воде белые худые ноги с подвернутыми выше колен штанинами. Когда он нагибался, сапоги болтались на его животе, там же болтался его автомат, который он придерживал правой рукой. Изредка он бросал вперед короткие взгляды из-под козырька фуражки, но больше глядел себе под ноги, отыскивая, куда ступить дальше.

«Ну что ж, может, так еще и лучше. Иди, иди, гад!»

И он шел, неся ему гибель и себе, видимо, тоже.

Погрязнув выше колен в болоте, немец подошел к кудрявому кусту крушины, ухватился рукой за ветку и, поскользнувшись на дне, ушел боком в воду. Пытаясь подняться, провалился еще глубже, невзначай рукой сбил фуражку, которая медленно поплыла от него, быстро погружаясь в воду. Замутив болото вокруг и уже не разбирая пути, бросился назад, к берегу, рассерженно приговаривая при этом что-то, обращенное к товарищу, который, стоя на берегу, надрывался от хохота.

Мокрый, облепленный тиной немец выбрался из болота и, все недовольно ворча, стянул с себя китель, брюки и все прочее, оставшись голым. Вдвоем они долго возились с его мокрой одеждой, выжимая из нее потоки болотной воды. Глядя на них, Левчук все больше коченел от стужи, его начинала донимать дрожь — он не мог дождаться, когда же они наконец закончат свою возню и уберутся отсюда. Вот немец уже натянул брюки, сетчатую голубую майку, начал обуваться. Напарник его, молодой длинноногий ефрейтор с фонариком на груди, что-то крикнул в кустарник, ему ответил издали другой голос, и Левчук услышал, как где-то на берегу клацнул затвор. Это его опять насторожило — что будет?

Но и в этот раз ждать не пришлось долго, издали гулко протрещала автоматная очередь, над болотом стремительно, с визгом пронеслись пули. Левчук не понял — куда это они? Кажется, кроме него, тут никого не было, но ведь его они вроде бы еще не заметили. Да и стреляли не здесь, а где-то поодаль, куда побежала вся группа с собаками. А может, там обнаружился еще кто-нибудь, может, там партизаны? Эти два немца тоже подались на выстрелы, задний торопливо, на бегу, надевал китель, перехватывая из руки в руку свой автомат.

Левчук решил пробираться дальше в болото и только подхватил на руки малого, как новая очередь оттуда взбила поблизости воду, обдав его множеством мелких брызг. Он затаился, грудью вжался в мох кочки, подобрав под себя младенца. Но вскоре он понял, что это случайные пули, били все-таки не по ним — в сторону. Тогда он опять опустился по самые плечи в болото, не сводя глаз с опустевшего края берега.

Погодя ему стало видно, что там происходит — они опять выстроились на берегу волчьей стаей и, не спеша обходя болото, начали расстреливать его из автоматов.

Немного воспрянувший духом, Левчук опять приуныл — не одно, так другое. Не взяли собаками, уберегся от немца, так расстреляют за кочкой слепой очередью, и он тихо опустился в мутную воду болота. Не самая лучшая участь из всех возможных, уготованных солдату войной. Хорошо еще, если вместе убьют и малого, а вдруг тот останется...

Наверное растревоженный стрельбой, младенец совсем забеспокоился и принялся потихоньку скулить в его пиджаке. Левчук потуже запахнул полы: что будет, если они услышат его? Особенно собаки, которые сразу же, как только началась стрельба, ошалело залаяли на разные голоса, захлебываясь от усердия, — наверно, рвались в болото. Но треск десятка автоматов, разумеется, оглушал в первую очередь собак и самих стрелков, которые пока еще не могли услышать далекого слабенького плача младенца.

Лишившись своих прежних надежд, Левчук уныло следил, как густые трассирующие потоки пуль приближаются к его кочке. Немцы не жалели патронов и расстреливали каждую кочку, каждый клочок мха, каждый кустик и каждое деревце в болоте. Тысячью брызг кипела, бурлила, перемешивалась с грязью вода, летела в воздух листва, мелкие ветки, осока, взбитая вместе с потоками воды зеленая ряска. Ободранные пулями стволы ольхи то тут, то там светились белыми пятнами на черной коре. Огонь был такой, какого Левчук не слышал давно, разве что в сорок первом на фронте под Кобрином. Уцелеть в нем было почти невозможно.

Он сгорбился, сжался за кочкой, насколько было возможно, опустился в воду. Жаль, что нельзя было в воду опустить и младенца, все время находившегося сверху и лишь слегка прикрытого мхом кочки. Пожалуй, ему достанется первому. Но та очередь, которая прикончит малого, не минет и Левчука, так что одинаково достанется обоим.

— Ах, гады, гады!..

Все на том же открытом краешке берега он снова увидел длинноногого ефрейтора с болтавшимся на груди фонариком; выйдя из кустарника, тот приставил автомат к плечу и запустил по болоту длинную очередь. Десяток пуль вперемежку с трассирующими взбили в воздух траву и мох с ближайшей от берега кочки, потом полетела вверх ольховая листва со следующей. Очередь неуклонно приближалась к Левчуку. Малой под руками, будто предчувствуя свой скорый конец, плакал вовсю, но в треске и грохоте выстрелов Левчук уже сам не очень слышал его. Он следил за мельканием трасс, чтобы успеть отметить для себя последнее свое мгновение, и старался дотерпеть до него. Дальше терпеть не будет уже надобности.

Тем временем на берегу их стало уже трое. Первый неожиданно пробежал дальше, зато двое других одновременно приложились к своим автоматам, и шквал пуль с ветром пронесся возле его ольшинки. Откуда-то сверху плюхнулось в воду маленькое, сбитое пулями гнездышко, в воздухе мелькнул белый пух, несколько перышек осело на его голову и кочку. Левчук прижал младенца рукой, как можно ниже втискивая его в мох, другой направил пистолет на берег. Он твердо намерился выстрелить в крайнего немца, который, сменив магазин, прикладывался к автомату для новой очереди. Правда, для пистолетного выстрела было далековато, от напряжения и озноба ему было трудно сладить с рукой. И все-таки он прицелился. Новая догадка пришла ему в голову, когда он заметил, что бьют они как бы в воздух и все их очереди идут над его головой и дальше. Он тихонько оглянулся и увидел, как густо летит в воздух листва с лозового куста сзади, куда ему недавно еще так хотелось забраться. И тогда он понял, что они видят там наиболее подозрительное место и потому так старательно обстреливают его.

У Левчука опять возгорелась надежда. Оглушенный автоматным грохотом, бушевавшим из края в край над болотом, он плотнее запахнул младенца, почти не слыша его плача, лишь чувствуя, что тот слабо шевелится под его руками. Хотя бы не задохнулся, подумал Левчук, судорожно сжав челюсти, — было так холодно, что он едва находил силы терпеть в изнуряющей своей неподвижности.

Стрельба, однако, явственно перемещалась в сторону от него, наверно, тут уже все было ими простреляно. Вокруг в осоке валялись свежие ольховые ветки, густо плавала в воде листва, невдалеке, держась на тонком волоконце коры, свисала над водой сбитая пулями верхушка березки.

В этой стороне болота стало несколько тише, кажется, немцы уходили правее, и он решился. Он подхватил сверток с младенцем, прижал его к себе левой рукой и с пистолетом в правой тихонько, чтобы не плескать в воде, пустился за тот, расстрелянный многими пулями куст. Наверно, во второй раз расстреливать его не будут.

Тут, однако, еще можно было укрыться, хотя иссеченный пулями куст заметно поредел, на поверхности воды всюду плавали лозовая листва и белые корни водорослей; водоросли и зеленая тина плетями свисали с изуродованных лозовых ветвей. И он удивленно подумал, что, видать, еще не отвернулась от него удача, если что-то удержало его от того, чтобы раньше перебраться сюда. Тут бы он наверняка и лежал теперь, истекая кровью в холодной воде.

— Тихо, тихо, браток. Помолчали немножко, — сказал он малому. Немного отдохнул, осмотрелся и боком-боком, по пояс в воде, где пригибаясь, а где почти вплавь, подался дальше в болото, думая, что если оно не утопит, то в этот раз, возможно, спасет его...

###### 16

Через час-полтора деревья и кустарник остались позади, с ними окончились и бездонные провалы-окна, на поверхности стало больше травянистых зарослей, мха. Хотя местами было глубоко и по-прежнему зыбились, уходили из-под ног водянистые кочки, но уже, наверно, можно было не утонуть. Стрельба постепенно отдалялась вправо, где треск очередей и тугой свист пуль продолжали сотрясать болото, разгоняя пугливую болотную птицу. Даже привычные к человеку сороки и те ошалело и молча неслись над самой водой, уходя прочь от пугающего огневого грохота.

Прижимая к груди младенца, Левчук бежал, прыгал, раскачивался на мшистых, обманчиво неустойчивых кочках, где успевая перебежать раньше, чем они погрузятся в воду, а где и нет. И тогда снова, в который уже раз, оказывался по пояс в торфянистой жиже, бросаясь то в одну, то в другую сторону, лихорадочно стараясь выбраться на что-нибудь твердое. Мокрая его одежда противно облипала тело, при каждом шаге ржавой водой плескало в лицо. Но он перестал дрожать, он начал уже согреваться. Он только берег, чтобы невзначай не выронить, свой сверток с маленьким в нем существом, а себя уже оберегать перестал. Самое трудное, кажется, постепенно кончалось, болото он одолел, впереди на пригорке плотной стеной зеленел ельник, значит, там начинался берег. Только что его ждет на зеленом том берегу?

Наконец он выбрался из болота и по мокрому, но уже устойчивому под ногами торфянику взбежал на заросший сивцом и вереском песчаный пригорок. Сапоги его, все цвиркая и чвякая, непривычно затопали по сухому. На вид он, пожалуй, был страшен — мало что мокрый с головы до ног, так еще весь облепленный тиной; на плечи и рукава понацеплялось каких-то волокнистых водорослей, ряска и прочая зеленая мелочь облепили всю его одежду. Но малого он, кажется, намочил не очень, и если тот неспокойно ворошился в пиджаке и плакал, то, видно, больше от голода. Этот его плач и подгонял Левчука. Трещавших за болотом выстрелов он не очень боялся, их угрожающая власть над ним кончилась, и теперь его подгоняла новая забота.

Он бежал. Он боялся за жизнь младенца и не хотел терять время на то, чтобы выжимать одежду, отдыхать. Взобравшись на пригорок, он продрался сквозь густую чащобу ельника и очутился на узенькой, хотя и хорошо наезженной лесной дорожке. «Если есть дорожка, то должна где-то быть и деревня, — с облегчением подумал Левчук, — только бы не наткнуться на немцев».

Он устало бежал по ней минут, может, десять, и от этого его бега малыш помалу затих, а потом и совсем умолк — заснул или просто укачался на его руках. Тогда Левчук перешел на шаг. Он уже согрелся и начал приглядываться к лесу, собираясь где-нибудь присесть и переобуться. По всей видимости, немцев тут не было, а идти ему придется еще неизвестно сколько, так он просто изуродует ноги в мокрых, со сбившимися портянками сапогах.

Только он подумал об этом, увидев высокие, по пояс, заросли папоротника у самой дороги, как услыхал близкие голоса и топот лошадиных ног. Он проворно сбежал с дороги, но было уже поздно, и всадники на лошадях успели заметить его. Сгорбясь за кустом можжевельника, он напряженно выжидал, надеясь, что, может, они проедут. Но они не проехали. Топот на дороге вдруг оборвался, и едва не над его головой повелительно прозвучало:

— Эй, а ну вылазь!

Левчук в сердцах выругался — какого черта еще пригнало? Судя по голосу, это были вроде бы наши, но кто знает, может, немцы или полицаи? Не выпуская из рук младенца, он осторожно вытащил из кобуры парабеллум, тихонько склонился за кустом, чтобы выглянуть на дорогу, и неожиданно увидел их совсем рядом. Они, наверно, тоже увидели его. Это были три всадника, одетые, правда, по-партизански — кто во что, уставившиеся в папоротник и направившие сюда свои автоматы — наши советские ППШ.

— Руки вверх!

Похоже все-таки, это были партизаны, хотя полной уверенности в том у Левчука не было. Он не спеша поднялся из зарослей, оставив на земле свою ношу и пряча за собой руку с парабеллумом. Но эта его медлительность, очевидно, не удовлетворила всадников, один из них, молодой парень в старой, вылинявшей гимнастерке и сдвинутой на затылок кубанке, решительно повернул лошадь в папоротник.

— Бросай пистоль! Ну! И руки вверх!

— Да ладно, — примирительно сказал Левчук. — Свой, чего там...

— Смотря кому свой!

Левчук уже убедился, что встретил партизан, и ему не хотелось бросать пистолет, ибо неизвестно, получит ли он его обратно. И он тянул время, неизвестно на что надеясь. А они между тем все посъезжали с дороги и начали незаметно окружать его. Наверно, действительно надо было бросать пистолет и поднимать руки.

— Смотри, да он же из болота! — догадался другой — молодой парнишка с сильно заостренным книзу лицом.

— Из болота, факт. С того берега, — имея в виду что-то свое, сказал первый и соскочил с седла в папоротник.

В это время сбоку к Левчуку подъехал и третий — наверно, постарше двух первых, широкогрудый мужчина в сером расстегнутом ватнике, и его свежепобритое, с черными усиками лицо показалось Левчуку знакомым. Будто вспоминая что-то, всадник тоже вгляделся в этого необычного лесного встречного.

— Постой! Так это же из Геройского? Левчук твоя фамилия, ага?

— Левчук.

— Так это же помнишь, как мы вместе разъезд громили? Вон как дрезина по нас пальнула?

И Левчук все вспомнил. Это было прошлой зимой на разъезде, где они с этим усатым тащили на рельсы шпалу, чтобы не дать проскочить со стрелок дрезине, бившей вдоль путей из пулемета. Этот усатый еще потерял в канаве валенок, который никак не мог нащупать босой стопой в глубоком снегу, и они оба едва не полегли там под пулеметным огнем.

Левчук успокоение сунул пистолет в кобуру, а ребята, доверяясь товарищу и заметно подобрев, поубирали за едины свои автоматы. Усатый окинул Левчука заинтересованным взглядом.

— Ты что, из болота?

— Ну, — просто ответил Левчук и осторожно поднял из травы младенца.

— А это что?

— Это? Человек. Где тут чтоб женщины какие. Мамку ему надо, малой он, сутки не ел.

Ребята молчали, слегка удивленные, а он развернул пиджак и показал им лицо младенца.

— Ого! Действительно! Смотри ты!.. И где взял?

— Длинная история, хлопцы. К какой-нибудь бабе надо. Есть ему надо, а то пропадет.

— Да в семейный лагерь отдать. Лагерь тут недалеко, — почти по-дружески сказал молодой, в кубанке, и вскочил в седло. — Кулеш, давай отвези. Потом догонишь.

— Нет, — сказал Левчук. — Я должен сам. Тут такая история, понимаете... Сам я должен. Это далеко?

— Смотря как. Дорогой далековато. А через ручей десять минут.

Они вышли из папоротника на дорожку. Лошади тревожно вертелись под седоками, которые, видно, торопились куда-то, но и этого болотного встречного, оказавшегося знакомым одного из товарищей, тоже неловко было оставлять без помощи.

— Ну ладно! — решил наконец парень в кубанке, бывший, по-видимому, старшим группы. — Кулеш, покажешь дорогу и догоняй. Возле Борти мы подождем.

Усатый Кулеш завернул лошадь, и Левчук торопливо подался за ним по дороге. Он шел быстрым шагом, стараясь понять, в какую он угодил бригаду, хотя наверняка не в Первомайскую. Из Первомайской этот Кулеш не мог быть на разъезде — Первомайская тогда действовала где-то под Минском и только весной появилась в этом районе.

— Это не по тебе там немцы пуляли? В болоте? — спросил Кулеш, поглядывая на него из седла.

— По мне, да. Едва ушел.

— Смотри ты! Там же трясина — о-ей!

— Ну. Думал, пузыри пущу. А ты теперь в Кировской, что ли? — осторожно поинтересовался Левчук.

— В Кировской, ага, — охотно ответил Кулеш. — Защемили и нас, сволочи! До вчерашнего было тихо, а вчера жеманули. Слышь, гремит? Отбиваемся.

Левчук уже слышал, как погромыхивало где-то в том направлении, куда они шли. Стрельба, правда, была отдаленная, зато густая, с раскатистым лесным эхом.

— Слушай, а это, часом, не твой? — кивнул Кулеш на его сверток.

— Нет, не мой, — сказал Левчук. — Друга моего.

— Вот как! Ну что ж, понятно...

— Не успел родиться — и уже сирота. Ни отца, ни матери.

— Бывает, — вздохнул Кулеш. — Это теперь просто.

Левчук быстро шагал рядом с рыжей Кулешовой лошадкой и постепенно отходил душой от всего недавно им пережитого. Наверно, он окончательно уже спасся и спасет наконец малого, в это теперь он почти что поверил. Хотя он был слишком измотан для того, чтобы по-настоящему порадоваться такому исходу его похождений. Теперь, когда столько страшного осталось по ту сторону болота, все-таки смилостивившегося над ним, он почувствовал в себе только тягучую тупую усталость и, стараясь не отстать от коня, бросал вперед нетерпеливые взгляды — когда же наконец покажется этот лагерь? Уж дальше лагеря он не пойдет. Там он устроит ребенка и выспится, а потом, может, обратится к какому врачу со своей раной. Мокрая, так и не перевязанная как следует, она то тупо болела, то начинала нестерпимо саднить в его плече, как будто нарывала, — не хватало еще заражения, что ему тогда делать? Его все больше начинала беспокоить рана.

— Уже недалеко, — сказал Кулеш. — Перейдем речку — и лагерь.

Левчук устало вздохнул и глянул на малого — тот спокойно себе дремал на его руках. Дорожка шла вниз, с хвойного пригорка к орешнику над ручьем. И тогда они увидели, как на той стороне по лужку, будто наперехват им, без всякого порядка бегут вооруженные люди. Один, завидя их тоже, замахал рукой, и Кулеш в замешательстве потянул повод.

— Что такое?

На дорогу выбежал смуглый, с жестковатым выражением глаз человек в немецком мундире, с немецким автоматом в руке: на его груди болтался огромный немецкий бинокль, и Левчук догадался, что это какой-то командир кировцев.

— Кулеш, стой! — крикнул командир и забросил за плечо автомат. — Кто такой? — кольнул он Левчука придирчивым взглядом.

— Это из Геройского, — ответил за него Кулеш. — Во, малого в семейный лагерь несем.

— Какого малого! — возмущенно вскричал командир. — Все в строй! Немцы прорвались, слышь, что делается.

Из орешника на дорогу высыпало человек двенадцать партизан. Все с виду были усталые, наверно, от долгого бега и нерешительно один за другим останавливались, прислушиваясь к неожиданной стычке их командира со знакомым Кулешом и незнакомым партизаном из Геройского.

— Что, с ребенком в строй? — удивился Кулеш.

— Ладно, ты вези ребенка! — быстро решил командир. — А ты в строй. Где винтовка?

— Нету, — сказал Левчук. — Вот пистолет.

— Становься с пистолетом. За мной марш!

Левчук секунду помедлил, намереваясь сказать, что ранен, но возбужденные лица командира и его бойцов дали ему понять, что лучше послушаться. Такие не очень станут упрашивать или разбираться в твоих оправданиях — такие обычно, если что не так, хватаются за пистолет. Левчук это знал по собственному опыту.

И он отдал ребенка Кулешу, который не очень ловко, с преувеличенной осторожностью поднял его в седло.

— Главное, к тетке какой. Чтоб покормила, — напомнил Левчук.

— Будет сделано. Ты не беспокойся.

Чернявый, с горячими глазами, взбежал на пригорок и оглянулся. Левчук, однако, стоял, почему-то испугавшись, что Кулеш упустит малого, а тот, пришпорив стоптанными каблуками коня, обернулся.

— Эй, а звать его как?

— Звать? — удивился Левчук.

Действительно, может, он расставался с ним навсегда, а имя ему так и не дал никакого. Да разве он думал про имя? Он даже не надеялся, что оно ему когда-либо понадобится.

— Виктор! — крикнул он, припомнив имя Платонова. — Виктор, скажи. А фамилия Платонов. Если что...

— Ясно!

Кулеш поскакал по дорожке и скоро исчез за поворотом в орешнике, а Левчук, зябко содрогнувшись от своей мокряди, побежал вслед за чернявым. Уже было слышно, как в том направлении забахали винтовки и первые пуля певуче прорезали утренний воздух...

###### 17

Через некоторое время Левчук начал посматривать на балконы и не сразу догадался, что третий балкон над подъездом — их. Действительно, если квартира на площадке справа, значит, окнами она выходит во двор, где и был этот балкон с узенькой застекленной дверью, какими-то цветочками в вазонах-корытцах, подвешенных к перилам. Там же виднелось плетеное кресло, столик, с крыши тянулся конец толстого провода от антенны. И неожиданно для себя он увидел там молодую женщину в светлом халатике, которая, неслышно выйдя из комнаты, полила из стеклянной банки цветы, глянула вниз и снова бесшумно исчезла в квартире, оставив раскрытой балконную дверь.

Левчук продолжал сидеть, не в состоянии сразу понять смысл этого ее появления, хотя он и знал, что дождался. Да, он дождался столько лет ожидаемого им свидания. Он там! Четверть часа назад Левчук краем глаза заметил, как какая-то пара прошла в подъезд, но он увидел только спину мужчины, невысокого, остроплечего, с худыми локтями, торчавшими из коротких рукавов тенниски, и не обратил на него внимания. В его воображении Платонов был иного сложения, и он продолжал сидеть, все приглядываясь к каждому из нечастых тут, случайных прохожих. Но, пожалуй, настало время вставать. Жизнь редко балует человека свершением его надежд, она имеет привычку поступать по-своему. Но и человек любит настоять на своем, вот и возникают конфликты, которые иногда скверно кончаются.

Наверно, все, что Левчук намечтал за тридцать лег неизвестности, — детская забава, не больше, наверно, все будет иначе. Но он должен знать — как ? Слишком много спрессовалось для него в той его партизанской истории, чтобы без должной причины пренебречь ею. Тем более что потом удача окончательно покинула его, не пришлось заслужить ничего. В конце блокады отняли руку, и он занял место Грибоеда в санчасти — смотрел лошадей. А возле лошадей какие же заслуги? Жил прежними, главной среди которых был этот спасенный им от волчьей стаи малой, затем неизвестно куда девавшийся. Как Кулеш увез его по дороге, так он ни разу больше его и не видел. Спрашивал у всех при каждом подходящем случае, да все напрасно. Кому было интересоваться младенцем, если пропадали сотни сильных, известных, выносливых; наградами Левчука тоже наделили не слишком, в то время, когда он воевал, награждали нечасто, а потом, когда стали чаще, он уже не воевал — стал обозником. Потому наибольшей для него наградой оставался этот младенец, нынешний полноправный гражданин страны Виктор Платонов.

Медленно, превозмогая внезапную тяжесть в ногах, Левчук поднялся с лавки и пошел к подъезду. Волнение охватило его за все вместе: за то страшное, давно им пережитое, за встречу, к которой он стремился без малого тридцать лет, за свою какую ни есть, но уже идущую к закату жизнь.

Сдерживая в себе какую-то неприятно расслабляющую волну, он медленно, с остановками, поднялся по лестнице на третий этаж. Знакомая дверь по-прежнему была плотно закрыта, но теперь он услышал присутствие за ней людей и нажал кнопку звонка. Он ждал, что кто-то ему откроет, но вместо того услыхал низкий добродушный голос, донесшийся из глубины квартиры:

— Да, да! Заходите, там не закрыто.

И он, забыв снять кепку, повернул ручку двери.

*1975 г.*